

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Дриада

Отправляемся в Париж, на выставку!

Вот мы и там! То-то была поездка, настоящий полёт, и без малейшей примеси колдовства: пар мчал нас и по морю и посуху.

Мы живём в сказочное время!

Теперь мы в центре Парижа, в большом отеле. Лестница вся уставлена цветами, устлана мягкими коврами. Номер наш очень удобен, уютен; дверь на балкон, выходящий на большую площадь, открыта. На площади уже весна; она прибыла в Париж, одновременно с нами, в лице пышного, молодого каштанового дерева с только что распустившейся нежною листвою. Оно опередило своим роскошным весенним нарядом все остальные деревья на площади! Одно из них уже вычеркнуто из числа живых и лежит на земле, вырванное с корнями. На его-то место и хотят посадить свежее каштановое деревцо.

Пока же оно возвышается на телеге, привезшей его в Париж из далёкой окрестности. Там оно росло годы рядом с могучим дубом, под которым часто присаживался славный старый священник. Ребятишки обступали его толпою, и он вёл с ними беседу. Прислушивалось к его речам и молодое каштановое деревцо; Дриада, обитавшая в нём, тоже, ведь, была ещё ребёнком. Она ещё живо помнила время, когда деревцо было совсем маленьким, таким маленьким, что чуть только выглядывало из высокой травы и папоротников. Но те-то уж выше стать не могли, деревцо же всё росло да росло год от году, впивая в себя воздух и солнечный свет, росу и дождь и получая, как водится, время от времени встрёпки от буйного ветра, – это уж входило в программу воспитания.

Дриада жила и наслаждалась жизнью, солнышком, пением птичек, но больше всего человеческим голосом; она понимала речь человека так же хорошо, как и речи животных и птиц.

Бабочки, стрекозы, мухи и вся остальная летучая компания часто являлись к ней с визитом. Все они болтали без умолку,

рассказывали о деревнях, о виноградниках, о лесах, о старом замке и парке, о его каналах и прудах. В этих прудах также жили разные живые создания, которые могли перелетать с место на место – только по-своему, под воду. Создания эти были очень разумны, рассудительны и от большого ума даже не говорили ничего.

Морская же ласточка, нырявшая в воду, рассказывала Дриаде о хороших золотых рыбках, о жирных лещах, толстых линях и старых обросших мхом карасях. Ласточка отлично описывала, но видеть всё своими глазами всё же куда лучше, – прибавляла она. Да как же устроить это?! Дриаде приходилось довольствоваться зрелищем расстилавшейся перед нею роскошной равнины, да прислушиваться к суете и шуму человеческой жизни издали.

И Дриада наслаждалась и тем, и другим, но больше всего любила слушать рассказы старого священника о Франции, о славных деяниях героев и героинь, чьи имена благоговейно передаются из поколения в поколение.

Дриада слушала о пастушке Иоанне Д'Арк, о Шарлоте Кордэ, о старине, о Генрихе IV, о Наполеоне Первом и его времени, о былом и настоящем величии родины. Она слышала все эти славные имена, говорившие сердцу народа: «Франция – мировая страна, родина пытливого ума, очаг свободы!»

Деревенские ребятишки благоговейно внимали этим рассказам, Дриада тоже. И она училась наравне с прочими детьми. Плывущие по небу облака рисовали ей картину за картиной – иллюстрации ко всему слышанному ею. Облачное небо было для неё любимой книжкой с картинками.

Она чувствовала себя такую счастливой в своей прекрасной Франции, но чувствовала также, что любая птичка, любое крылатое существо куда счастливее её! Даже мухе дано видеть на белом свете куда больше, чем ей!

Франция обширна и прекрасна, а Дриаде суждено видеть лишь крошечную часть этой чудной страны, широко раскинувшей по лицу земли свои виноградники, леса и большие города. Самым лучшим, великолепнейшим из них был Париж, и птички могли в нём побывать, Дриада же – никогда!

Среди деревенских ребятишек была одна маленькая, бедная,

оборванная девочка, красавица собою. Она вечно пела, вечно смеялась и вплетала в свои чёрные кудри красные цветочки.

– Смотри, не забирайся в Париж! – говаривал ей старый священник. – Бедное дитя, ты пропадёшь там!

Но она всё-таки отправилась в Париж.

Дриада часто вспоминала о ней: и её тоже тянуло, неудержимо влекло в этот огромный город.

Прошла весна, лето, осень, зима; прошло два-три года.

Каштановое деревцо впервые надело убор из нежных цветов, и птички наперерыв щебетали об этом друг другу; солнышко так и сияло. Вдруг на дороге показалась великолепная коляска; в ней сидела знатная дама, сама правившая красивыми быстроногими конями. Разодетый мальчик-жокей сидел позади. Дриада сразу признала молодую даму, старый священник тоже и – печально покачал головой:

– Ты всё-таки попала туда и погибла, бедняжка Мария!

«Бедняжка?» недоумевала Дриада. «Такое превращение! Она одета, как герцогиня! Вот что случилось с ней в этом волшебном городе! Ах, если бы и мне побывать там, насладиться его роскошью и блеском! Блеск его отражается даже на вечерних облаках! Я часто смотрю в ту сторону, где, знаю, находится Париж, и вижу на небе светлое сияние!»

Да, туда, в ту сторону Дриада смотрела каждый вечер, каждую ночь, – на горизонте расстилался какой-то светящийся туман. Как она скучала о нём в светлые, безоблачные, лунные ночи! Как скучала она тогда и о бегущих облаках, показывавших ей из жизни и истории города картину за картиною!

Дитя жадно хватается за свою книжку с картинками, Дриада хваталась за облачное небо, где отражались её мечты.

Чистое, безоблачное летнее небо было для неё белою страницей, и вот уже несколько дней, как оно оставалось таким. Стояли жаркие летние дни, без малейшей прохлады; листья и цветы охватила какая-то истома; людей тоже.

Но вот на небе собрались облака и как раз в той стороне, где сияющий туман говорил о Париже. Облака поднялись, образуя какие-то причудливые горные цепи, загромоздили всё небо, нависли над всем видимым Дриаде горизонтом. И вот, из этих

гигантских тёмно-синих облачных скал вырвались лучи молнии, «тоже слуги Божии» – как называл их старый священник. Голубая, ослепительная, как солнце, молния ударила в старый могучий дуб, проникла до самых его корней и расколола его пополам. Вершина и ствол дерева раздвоились и рухнули на землю, словно принимая посланницу света в свои объятия.

Громче, сильнее пушечного выстрела, приветствующего рождение принца, потряс воздух и разнёсся по всей окрестности удар грома, возвестивший кончину старого дуба. Полил дождь, подул свежий ветер, буря пронеслась, и вся природа опять засияла в праздничном блеске. Деревенские жители окружили поверженный дуб; старый священник почтил его словом, один художник срисовал его на память для потомства.

– Всё сменяется, проносится, как облако, и никогда не возвращается назад! – сказала Дриада.

Не возвращался сюда и старый священник: школьной кровли и кафедры его больше не существовало. Ребятишки тоже перестали приходить сюда, зато пришла осень, за нею зима, а там и опять весна. Времена года сменялись, а Дриада всё смотрела в одну сторону – в ту, где каждый вечер, каждую ночь стояло над Парижем сияющее туманное облако. Из столицы и в столицу мчались, свистя и пыхтя, паровоз за паровозом, поезд за поездом, мчались непрерывно – и утром, и днём, и вечером, день-деньской; в одни входили, из других выходили толпы людей, высланных сюда всеми странами мира; всех манило в Париж новое чудо света.

Какое же?

«На бесплодном, песчаном Марсовом поле» – говорил одни – «распустился роскошный цветок искусства и промышленности, гигантский подсолнечник, и по лепесткам его можно изучить географию, статистику и всякую механику, искусства и поэзию, познать величину и величие всех стран света!» «На Марсовом поле» – говорили другие – «вырос сказочный цветок, пёстрый лотос, распустивший над песком свои зелёные листья, словно бархатные ковры; распустился он раннею весною, летом достигнет апогея своей красоты, а осенью ветер развеет его лепестки, и от него не останется и следа!»

Перед «Военным Училищем» расстилается боевая арена мирного времени, поле без травы, словно вырезанное из песчаной африканской пустыни, где Фата-Моргана показывает свои диковинные воздушные замки и висячие сады. Такие же замки и сады пленяют ныне взоры и на Марсовом поле, только здесь они, пожалуй, ещё богаче, ещё диковиннее: благодаря гению человеческой изобретательности они стали действительностью!

«На Марсовом поле» – шёл говор – «воздвигнут современный дворец Алладина, и день ото дня, час от часу развёртывает взорам всё новые и новые красоты. Стены обширных покоев выложены мрамором, пестреют красками. В огромной круглой зале работает своими стальными и железными мускулами мастер «Бескровный». Чудеса искусств из металла, из камня, художественно выполненные ткани, говорят о духовной жизни различных стран мира. Картинные галереи, роскошные цветники, всё, что только могут создать ум и руки человеческие, – всё собрано и выставлено здесь напоказ, не забыты даже памятники седой древности, извлечённые из старинных замков, из древних торфяных болот.»

Но, чтобы обнять взглядом, охватить эту пеструю подавляюще грандиозную панораму в целом и описать её, нужно сжать, уменьшить её до игрушечных размеров.

Да, на Марсовом поле, словно на гигантском игрушечном столе, под ёлкой, красовался замок Алладина, воздвигнутый соединёнными усилиями искусства и промышленности, а вокруг замка были расставлены диковинные и величественные безделушки из всех стран мира; каждая национальность могла унести отсюда воспоминание о своей родине.

Тут возвышался египетский дворец, там караван-сарай пустыни, мимо которого проносился на верблюде житель знойной степи, бедуин, здесь шли русские конюшни с огненными, великолепными конями, там ютилось крытое соломой жилище датского крестьянина с развевающимся Данеброгом на крыше, а рядом великолепный, деревянный, изукрашенный резьбой далекарлийский дом Густава Вазы. Американские хижины, английские коттеджи, французские павильоны, турецкие киоски, всевозможные церкви и театры были прихотливо разбросаны по свежей, покрытой дёрном площади, где

журчала вода, росли цветущие кусты, редкие породы деревьев, помещались оранжереи, сразу переносившие посетителей в тропические леса, раскинулись под навесами целые сады роз, словно перенесённые сюда из Дамаска. Какое разнообразие красок, какое благоухание!

В искусственные сталактитовые пещеры были вделаны гигантских размеров аквариумы, одни с пресною, другие с солёною водой. Тут зритель попадал в царство рыб и полипов, как будто опускался на дно морское!

Так вот что представляло теперь, по рассказам, Марсово поле, и по этому-то празднично убранному пиршественному столу двигались, словно мириады муравьёв, несметные толпы людей пешком или в ручных креслах, – не всякие ноги могут, ведь, выдержать такое странствие!

Люди наводняли выставку с раннего утра и до позднего вечера. По Сене скользили пароход за пароходом, переполненные пассажирами, вереницы экипажей на улицах всё увеличивались, пеших и верховых всё прибывало; омнибусы и дилижансы были набиты битком, унизаны людьми сплошь. И всё это двигалось по одному направлению, к одной цели, к «парижской выставке»! Над всеми входами развевались французские флаги, а над «всемирным базаром» – флаги различных наций. Свист и шум машин, мелодичный звон башенных колоколов, гул церковных орга́нов, хриплое, гнусливое пение, вырывавшееся из восточных кофеен – всё сливалось вместе! Настоящее вавилонское смешение языков!

Вот что говорили, вот как описывали «новое чудо света». Кто не слышал о нём? Дриада тоже слышала, знала всё, что говорилось о новом чуде в городе городов.

«О, летите же туда, птички, летите, а вернувшись назад – расскажите мне обо всём!» молила Дриада.

Смутное влечение выросло в безумное желание, в заветную мечту: «в Париж, в Париж!» И вот, однажды, среди безмолвной тишины лунной ночи, из полного диска луны вылетела искра, скатилась по небу, словно падающая звёздочка, и перед деревом, ветви которого заколыхались, словно от бурного порыва ветра, предстало светлое величественное видение. Раздались звуки, такие нежные, ласкающие и в то же время мощные, как трубные

звуки в день Страшного Суда, пробуждающие к жизни и призывающие на суд мертвецов:

«Ты попадешь в этот волшебный город, пустишь там корни, познакомишься с его воздухом и солнечным светом. Но жизнь твоя сократится, длинный ряд годов, ожидавших тебя здесь, на воле, сократятся в дни. Бедная Дриада, ты пропадешь там! Твоя тоска, твои желания будут всё расти! Самое дерево твоё станет для тебя темницею, ты захочешь покинуть свою оболочку, отказаться от своей природы, вмешаться в толпу людей, и тогда годы твоего существования сократятся в полжизни мухи-подёнки, твоя жизнь продолжится всего лишь одну ночь! А затем ты угаснешь, листья твоего дерева завянут, развеются по ветру и никогда уже не возродятся к жизни!»

Звуки смолкли, видение исчезло, но тоска и желание Дриады не исчезли; она вся трепетала от ожидания, как в лихорадке.

– Я попаду туда, в этот город городов! – ликовала она. – Для меня начнётся новая жизнь! Она будет расти, нестись как облако – неведомо куда!

На заре, когда месяц побледнел, и облака заалели, пробил час исполнения её желания; обещанное сбылось.

Явились люди с заступами и железными ломami и принялись выкапывать дерево; затем подъехала телега, запряжённая лошадьми; дерево, со всеми его корнями и приставшей к ним землёю, подняли, закутали корни в рогожи, словно в тёплый ножной мешок, затем взвалили деревцо на телегу и крепко привязали. Судьба назначила ему расти в великой столице Франции, в городе городов.

Телега двинулась, ветви и листья каштана задрожали, сама Дриада вся затрепетала от сладостного ожидания.

«В путь! В путь!» слышалось ей в каждом биении пульса. «В путь! В путь!» лепетала она дрожащим голосом и даже забыла проститься с родиною, с высокою колеблющеюся травой, с невинными ромашками, смотревшими на неё, как на важную особу в саду Господнем, как на юную принцессу, которая разыгрывала тут на лоне природы простую пастушку.

Каштановое дерево кивало с телеги ветвями, как бы говоря: «прощайте, прощайте!» или «в путь, в путь!» – что именно,

Дриада сама не знала. Она была полна одною мыслью, одною мечтой об ожидавших её новых чудесах – новых и в то же время столь знакомых! Ни один ребёнок в невинной радости сердца, ни одна пылкая человеческая натура в порыве чувственности не предавались таким радужным мечтам, как Дриада на пути в Париж. И вместо «прости» губы её шептали: «в путь! в путь!»

Колёса вертелись, телега подвигалась вперёд, даль приближалась, затем оставалась позади; окрестности менялись, как меняются облака. Виноградники, леса, деревушки, виллы и сады выступали и пробегали мимо. Каштановое деревцо всё подвигалось вперёд, а с ним и Дриада. Поезд за поездом пролетали мимо друг друга, скрещивали свои пути; паровозы выпускали облака дыма, принимавшие причудливые очертания и рисовавшие Дриаде картины Парижа, откуда неслись поезда и куда стремилась она.

Всё вокруг как будто знало, должно было понимать, куда лежит её путь, и ей казалось, что каждое встречное деревцо протягивает к ней ветви с мольбою: «Возьми и меня с собой!» В каждом деревце, ведь, тоже жила Дриада, обуреваемая такою же страстною тоской!

Но какая быстрая смена картин! Какая пестрота! Дома словно вырастали из-под земли, становились всё многочисленнее, всё теснее жались друг к другу. Дымовые трубы вздымались на крышах одна возле другой, одна над другою, как цветочные горшки; огромные надписи, выведенные аршинными буквами, покрывали стены домов от самого фундамента до крыши.

«Где же начинается Париж, когда же я попаду туда?» спрашивала себя Дриада. А толпы народа всё росли, движение и суета всё увеличивались, экипаж следовал за экипажем, пешие сменяли всадников, справа и слева тянулись ряды магазинов, со всех сторон слышались музыка, пение, говор, крик!..

Тяжёлая телега остановилась на маленькой площади, обсаженной деревьями, окружённой высокими домами, с балкончиками у каждого окна. На балкончиках стояли люди и любовались вновь привезённым молодым свежим каштановым деревом, которое должно было заменить старое, засохшее, валявшееся на земле. Прохожие останавливались и с довольною улыбкой смотрели на весеннюю

зелень деревца; старые деревья, ещё не успевшие развернуть почек, кивали ему ветвями и шумели: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» А фонтан, выбрасывавший в воздух свои струи, ниспадавшие затем в широкий бассейн, оросил нового гостя брызгами, словно желая поднести ему на новоселье задравный кубок.

Дриада чувствовала, как её дерево подняли с телеги и посадили в приготовленную яму. Корни дерева закопали в землю, прикрыли сверху свежим дёрном, кругом же рассадили цветущие кусты и цветы в горшках, так что посередине площади образовалась целая цветочная клумба. Мёртвое выдернутое дерево, задушенное газовыми, кухонными и другими испарениями, насыщавшими губительный для растений городской воздух, было взвалено на телегу и увезено. Толпа глазела на это зрелище; дети и старики, сидевшие на скамеечках в тени, смотрели вверх на свежую листву нового деревца. Мы же, стоя на балконе и любуясь на юную весну, прибывшую сюда из деревенского приволья, сказали, что сказал бы на нашем месте и старый священник: «Бедная Дриада!»

– Я счастлива! Счастлива! – твердила между тем она. – Но я не могу хорошенько понять, не могу высказать того, что чувствую! Всё здесь так, как я думала, и всё-таки как-то не так!

Высокие-высокие дома как-то уж очень близко подступали к ней; солнышко падало только на одну стену, и та была вся залеплена разными объявлениями и афишами, собиравшими перед собою толпы народа. Мимо проезжали экипажи всех сортов – и тяжёлые, и лёгкие. Омнибусы, эти переполненные людьми движущиеся дома, мчались по мостовой, верховые стремились обогнать их, тележки и фиакры добивались того же.

– Ах, да скоро ли, – волновалась Дриада – и эти высокие дома, обступающие площадь, догадаются сдвинуться с места, изменят очертания, как облака, и дадут мне заглянуть в самое сердце Парижа, дадут мне весь охватить его взором! Пусть покажется мне собор Богоматери, Вандомская колонна и то чудо света, которое вызвало и вызывает сюда эти толпы иностранцев!

Но дома и не думали двигаться с места.

Вечер ещё не настал, а на площади уже зажглись фонари, в

магазинах заблестели газовые рожки, бросая яркий отблеск на ветви дерева, – словно опять взошло красное солнышко! На небе проглянули звёздочки, те самые, которые Дриада видела у себя на родине; ей даже показалось, что на неё повеяло воздухом оттуда – чистым, мягким воздухом полей. И Дриада точно воспрянула духом, силы её как будто удвоились, сила зрения сообщилась каждому листочку дерева, каждый корешок как будто обрёл чувствительность. Она чувствовала на себе ласковые взгляды, внимала говору, звукам, любовалась всем этим блеском и пестротой!..

Из боковой улицы доносились до неё звуки духовых инструментов и плясовые мотивы шарманок, призывавшие к танцам, к веселью, к наслаждению жизнью!

Под эту музыку должны были бы, кажется, заплясать все люди, лошади, кареты, деревья и дома! Опьяняющее чувство радости охватило Дриаду.

– Как хорошо здесь! Как я счастлива! – ликовала она. – Я в Париже!

Следующий день, и следующая ночь, и последующие затем день и ночь не принесли с собою Дриаде ничего нового: вокруг то же зрелище, то же движение, та же пёстрая, разнообразная и вместе с тем однообразная жизнь!

«Теперь я знаю тут, на площади, каждое дерево, каждый цветок, каждый дом, каждый балкон и магазин! Меня засадили в такой маленький, тесный уголок, что я совсем не вижу исполинского Парижа. Где же триумфальные арки, бульвары, где чудо света? Ничего этого я не вижу! Я сижу между этими огромными домами, словно в клетке! Я знаю наизусть все эти надписи, афиши и вывески, всё это уже набило мне оскомину! Где же то, о чём я слышала, знала, тосковала, к чему рвалась? Что же я нашла тут, чего добилась? Я тоскую по-прежнему! Я чувствую вокруг себя какую-то иную жизнь, хочу схватиться за неё, слиться с нею! Я хочу вмешаться в толпу людей, порхать птичкой, видеть, ощущать всё, стать вполне человеком! Я готова променять на полжизни мухи-подёнки годы такой тянущейся изо дня в день, скучной, вялой жизни! Я изнываю, хирею, таю от неё, как туман! Я хочу сиять в лучах солнца, глядеть на всё с высоты, скользить,

несть неведомо куда – как облако!»

И вздохи Дриады перешли в пламенную мольбу:

«О, возьмите годы моей жизни, дайте мне полжизни мухи-подёнки, но только откройте мою темницу! Дайте мне пожить человеческою жизнью, насладиться человеческим счастьем хоть один только миг, одну эту ночь, а там карайте меня за мою смелость, за мою жажду жизни, сотрите меня с лица земли! Пусть моя оболочка, моё свежее, зелёное деревцо завянет, пусть его срубят, превратят в пепел, развеют по ветру!»

И листва дерева зашелестела, затрепетала вся до последнего листочка, как будто по дереву пробежала дрожь или огненная струя. Вершина его заколыхалась в бурном порыве, раскрылась, и оттуда взвился в воздух женский образ – сама Дриада. Мгновение – и она очутилась под освещёнными газом густолиственными ветвями дерева, такая же юная, прекрасная, как бедняжка Мария, которой священник предрекал гибель в Париже.

Дриада сидела у подножия своего дерева, у дверей своего дома, – она сама заперла их на ключ, и ключ этот забросила! Как она была молода, прелестна! Звёзды мигали ей, газовые фонари блестели и манили её вдаль! Она была нежна, гибка, воздушна и в то же время полна сил; дитя и в то же время вполне сложившаяся женщина. На ней было тонкое шёлковое платье цвета нежных, свежих светло-зелёных листьев каштана; в тёмно-каштановых волосах красовался полураспустившийся цветок родного деревца; она смотрела самую богиней весны!

С минуту она сидела неподвижно, затем вскочила и с быстротой газели кинулась вперёд, завернула за угол, неслась, летела, перебегала с места на место, быстрая, неуловимая, как солнечный зайчик, наводимый зеркалом.

Если бы можно было проследить, подметить все её движения! Какое открылось бы удивительное зрелище! Облик её, всё её одеяние менялись ежеминутно, принимали новые очертания и краски, сообразно месту, на котором она приостанавливалась хоть на мгновение, или падавшему на неё из окон домов свету. Вот она на бульваре; от уличных фонарей и от газовых рожков в магазинах и кофейнях лились потоки света. Вдоль тротуаров тянулись ряды молодых и стройных деревьев; каждое скрывало от

лучей искусственного света свою Дриаду. Весь бесконечно длинный тротуар представлял как будто одну сплошную залу, заставленную столами с всевозможными прохладительными напитками – от шампанского и шартреза и до кофе и пива. На окнах магазинов красовались настоящие выставки цветов, картин, статуй, книг и пёстрых тканей.

Насмотревшись на толпу, сновавшую около домов, Дриада устремила взор на ужасающий поток, струившийся между двумя рядами деревьев. Там неслась как будто целая река карет, кабриолетов, колясок, омнибусов, фиакров, всадников и марширующих солдат. Вздумать пробраться сквозь этот бешеный поток – значило бы рисковать жизнью. Вот замелькали какие-то голубоватые огоньки, потом опять всё утонуло в море газового света, и вдруг взвилась ракета!.. Откуда? Куда?

Так вот где расстилалась широкая столбовая дорога города городов!

С одной стороны звучала нежная итальянская мелодия, с другой – испанский мотив, сопровождаемый позвякиванием кастаньет; но громче, оглушительнее всего раздавались модные шарманочные мотивы, звуки этой щекочущей нервы, канканной музыки, которой и не знавал Орфей, никогда и не слыхивала прекрасная Елена, но под которую впору было заплясать на своём единственном колесе даже старой тачке, умей она только плясать! И Дриада плясала, кружилась, порхала, меняя цвета и краски, как колибри под лучами солнца, – она, ведь, воспринимала отражение от каждого дома и его внутреннего мирка. Она неслась вперёд, как сияющий цветок лотоса, оторванный от стебля и увлекаемый течением; стоило же ей приостановиться – она принимала новый образ. Кто мог уследить за нею, разглядеть её?

Всё проносилось мимо неё, как облачные картины. Одно за другим мелькали перед нею лица, но хоть бы одно знакомое, родное! А в её памяти ярко сияла пара очей: она вспоминала Марию, бедняжку Марию, оборванную, весёлую девочку с красным цветком в чёрных кудрях. Она, ведь, жила тут же, в этом мировом городе, богатая, сияющая, как тогда, когда проезжала мимо дома священника, мимо дерева Дриады и старого дуба.

Она наверно здесь, среди этого оглушительного водоворота;

может быть, только что вышла вон из той роскошной коляски, остановившейся возле ограды, перед которою уже стоял целый ряд великолепных экипажей с кучерами в галунах и лакеями в шёлковых чулках. Выходили из карет всё одни разодетые дамы, которые затем проходили в открытые решётчатые ворота, подымались по высокой, широкой лестнице и вступали в величественное здание с белыми, как мрамор, колоннами. Не это ли и есть чудо света? Если да, то Мария наверно там!

Изнутри здания доносилось пение: «Sancta Maria!»<sup>[1]</sup>; из-под высоких расписанных и вызолоченных сводов, под которыми царствовал полумрак, струился благоуханный дым ладана.

Это была церковь св. Магдалины. По блестящему каменному полу скользили знатные светские дамы в дорогих чёрных платьях, сшитых по последней моде. На серебряных застёжках переплетённых в бархат молитвенников красовались гербы, на раздушенных тонких носовых платках, обшитых драгоценными брюссельскими кружевами – тоже. Некоторые из дам преклоняли в тихой молитве колени перед алтарями, другие направлялись к исповедальням.

Дриаду охватило не то волнение, не то страх, словно она попала в такое место, куда не смела входить. Здесь царствовала тишина, таинственный полумрак, слышался лишь тихий шёпот исповедавшихся.

Дриада увидела на себе такой же богатый наряд из шёлка и кружев, такую же вуаль, в каких были и все другие дамы, представительницы роскоши и знати. Не были ли и они все сёстрами Дриады по охватывавшей её страстной тоске и жажде наслаждений?

Послышался глубокий, скорбный вздох. Вырвался ли он из укромного уголка исповедальни, или из груди самой Дриады? Она плотнее окутала лицо вуалью...

Нет, здесь ей приходится дышать кадилым дымом, а не свежим воздухом, – не сюда влекли её желания! Дальше, дальше, вперёд, без конца, без отдыха! Муха-подёнка не знает отдыха, вся жизнь её – один полёт, одно порханье!

Она опять очутилась на залитой газовыми лучами площади, у

великолепного фонтана. «Но все эти струи не в силах смыть невинной крови, пролитой на этом месте!» – произнёс кто-то неподалёку от Дриады.

На площади собралась толпа иностранцев; шёл громкий, живой разговор. Так не смели говорить там, в той таинственной полутёмной обители, откуда только что вышла Дриада.

Вот приподняли и отвернули одну из огромных плит тротуара. Дриада пришла в недоумение: она видела, что под плитой открывался спуск в какое-то подземелье. Но вот, иностранцы стали спускаться туда один за другим, расставаясь с звёздным небом, ярким, как солнце, пламенем газовых рожков и кипящею вокруг жизнью.

– Нет, я боюсь! – сказала одна из дам. – Я не решаюсь спуститься туда! Да меня и не интересуют эти подземные прелести! Оставайся и ты со мною!

– Как? Уехать домой, оставить Париж, не увидав самого замечательного, настоящего чуда нашего времени, созданного умом и волею одного человека? – сказал муж дамы.

– Ну, а я всё-таки не спущусь! – повторила она.

«Чудо нашего времени!» Дриада слышала эти слова и поняла их по-своему. Так цель её страстных желаний – перед нею!

Собственно говоря, перед нею открывался спуск в глубину, в подземный Париж; не так она представляла себе «чудо», но иностранцы отправились искать его в подземелье и она последовала за ними.

Железная витая лестница была широка и удобна. Спуск озарялся лампой; внизу, в глубине светилась другая. И вот, путники очутились в лабиринте бесконечно длинных, перекрещивающихся сводчатых коридоров. Здесь видны были, словно в матовом зеркале, все парижские улицы и переулки; на углах можно было прочесть их названия; каждый дом имел здесь свой номер, основания домов как будто вращались в эти пустынные мощённые панели, сжимавшие, как в тисках, широкий канал, в котором быстро струилась жидкая грязь. Повыше, по трубам, протекала свежая вода, а в самом верху шла сеть газовых труб и телеграфных проводов. Лампы были разбросаны в больших расстояниях друг от друга и смахивали скорее на отражения

фонарей верхнего города. Иногда оттуда доносился глухой грохот; это проезжали над подземными люками тяжёлые дроги.

Куда же попала Дриада?

Вы, конечно, слышали о римских катакомбах? Парижские катакомбы имели с ними лишь слабое сходство, да и то исчезло с преобразованием этого подземного мира в «чудо нашего времени» – в «клоаки Парижа». Вот куда попала Дриада, а вовсе не на Марсово поле, не на всемирную выставку.

Вокруг неё раздавались возгласы удивления и глубокой признательности.

«Вот отчего» – услышала Дриада – «зависит жизнь и здоровье тысяч и тысяч живущих наверху! Да, наше время – время благодетельного прогресса!»

Вот как судили и рядили люди, но совсем иначе относились к делу искони обитавшие здесь твари – крысы. Эти пищали из щели старой стены так громко, ясно и понятно для Дриады.

Большая, старая крыса мужского пола, с откушенным хвостом, пронзительно излагала свои ощущения, горькие впечатления и единственно верное мнение, и все члены её семьи выражали одобрение каждому её слову.

– Меня просто тошнит от этого человеческого мяуканья, этих невежественных речей! Как же, отлично здесь стало: теперь тут и газ, и керосин! Да я не ем ни того, ни другого! Здесь стало до того чисто и светло, что просто самого себя стыдно, а почему – и сам не знаешь! То-то опять зажили бы мы при сальных свечках! А, ведь, это время не так-то ещё давно миновало! То была эпоха романтизма, как это говорится.

– Что ты толкуешь? – спросила Дриада. – Я тебя никогда не видала раньше. О чём ты говоришь?

– О добрых старых временах! – сказала крыса. – О тех блаженных временах, когда ещё здравствовали наши прадедушки и прабабушки – крысы! В те времена спуститься сюда было не шуткой! Тут было настоящее крысиное царство, не то что верхний Париж! Здесь жила сама матушка-чума; она убивала людей, но крыс не трогала. Ворам и контрабандистам была тут вольная дорога; здесь только они вздыхали свободно, и тут было убежище интереснейших лиц, каких теперь увидишь разве лишь в мелодрамах. Да, эпоха

романтизма миновала и для нашего крысиного гнезда! И у нас завёлся свежий воздух и керосин!

Вот как пицала крыса, поносила наше время и восхваляла старое вместе с матушкой-чумой.

Подъехала каретка, вроде омнибуса, запряжённая быстрыми маленькими лошадками. Путники уселись в неё и поехали по Севастопольскому бульвару, т. е. по подземному коридору, тянувшемуся под многолюдным, известным всему миру, бульваром того же названия, что был наверху.

Каретка исчезла в полумраке; Дриада тоже исчезла, поднялась на вольный воздух и свет. Тут, при блеске газовых фонарей, а не внизу, под скрещивающимися, тёмными, душными сводами, найдёт она чудо света, которое так жадно искала в эту короткую ночь своей жизни. Это чудо должно превосходить своим блеском все газовые фонари наверху, даже выплывший на небо полный месяц!

Да, конечно, так! Она даже видит его перед собою!.. Что за блеск, какое сияние!.. Оно светилось, вспыхивало, манило к себе, как вечерняя звезда в небесах, как сама Венера!

Дриада увидела открытый иллюминированный вход в маленький сад, тоже весь залитый огнями. В саду раздавались звуки плясовых мотивов; вокруг маленьких тихих озёр и прудов блестели яркою каймой газовые огоньки, в середине же красовались искусственные водяные растения из цветной фольги, и из чашечек их били в воздух водяные струи. Красивые плакучие ивы – настоящие ивы, в весеннем уборе – свешивали к воде свои свежие, густые ветви, словно прозрачное зелёное покрывало. В кустах зажжён был костёр, бросавший красный отблеск на маленькие, полутёмные, безмолвные беседки, в которые врываются звуки щекощучей нервы, одуряющей, распаляющей кровь музыки.

Дриада увидела здесь молодых, красивых, нарядных, простодушно улыбавшихся, беззаботных и легкомысленных женщин, похожих на Марию, тоже с розами в волосах, но без колясок и жокеев. Как они неслись, кружились, сплетались в дикой пляске! Где голова, где ноги? Они кружились, словно укушенные тарантулом, смеялись, улыбались, готовы были в радостном упоении обнять весь мир.

Дриада почувствовала и себя увлеченною в этот вихрь танцев.

Маленькую, изящную ножку её охватывал шёлковый башмачок тёмно-каштанового цвета, такая же лента спускалась с её локонов на обнажённые плечи. Шёлковое зелёное платье драпировалось на ней пышными складками, но не скрывало очертаний изящных, стройных ног с прелестною ступнёю, которая как будто описывала в воздухе перед молодым кавалером магические круги.

Куда она попала? В волшебные сады Армиды? Как называлось это место?

Над входом огненными буквами красовалось:

«Mabille».

Звуки музыки, рукоплескания, треск ракет, журчание фонтанов и хлопанье пробок от бутылок шампанского – всё сливалось в один общий гул. Пляска становилась всё разнузданнее, и месяц проплывал над пляшущими, слегка отвернув лицо в сторону. На небе не было ни облачка; над Мабилем расстилалась прозрачная ясная синева, – можно было в упоении пляски вообразить, что глядишь прямо в небо!

Пламенная, пожирающая жажда жизни охватила Дриаду; она была в каком-то чаду, словно приняла опиуму.

Глаза её блестели, губы шептали, но слова заглушались звуками флейт и скрипок. Кавалер её тоже шептал ей что-то под звуки канканной музыки, но она не поняла его слов; не поймём их и мы. Но вот он протянул к ней руки и заключил в свои объятия лишь прозрачный, освещённый газом воздух.

Поток воздуха подхватил и унёс Дриаду, как уносит лепесток розы. В вышине перед собой Дриада видела пламя, мерцающий огонёк на высокой башне. То сиял маяк, указывавший ей путь к цели её заветных желаний, огонёк на башне Марсова поля; туда-то и понёс её весенний ветер. Она обогнула башню, и рабочие подумали, что это спускается на землю чересчур ранняя весенняя гостья-бабочка, которая скоро и погибнет.

Месяц сиял, сияли и все газовые рожки и фонари в огромных покоях и рассыпанных по полю постройках, собравшихся сюда из всех стран света. Ярким светом были залиты и холмы, покрытые дёрном, и искусственные скалы, с которых низвергалась вода, приводимая в движение силою «мастера Бескровного». Взорам открывались глубины солёных морей и пресных вод, царство рыб;

зритель как будто опускался на дно глубокого пруда, или в море в стеклянном водолазном колоколе. Вода напирала на толстые стеклянные стены со всех сторон. Сажённые, скользкие, похожие на гигантских угрей, на какие-то извивающиеся кишки полипы плотно присосались ко дну. Тут же преспокойно разлеглась большущая задумчивая камбала; через неё переползал краб, похожий на огромного паука, а креветки быстро носились взад и вперёд, точно морская моль или бабочки.

В пресных водах росли кувшинки, нарциссы и тростник. Золотые рыбки располагались рядами, словно рыжие коровки по лугу, повернув головки в одну сторону и разинув рты навстречу течению. Толстые, жирные линии глупо глазели сквозь стеклянные стены. Они знали, что они на парижской выставке, помнили, что совершили в бочках с водой ужасно трудное путешествие, ехали по железной дороге и страдали «сухопутною болезнью», как люди страдают на море морскою. Они прибыли сюда, чтобы полюбоваться на выставку, и теперь любовались ею из своих собственных пресноводных или солёноводных лож. Смотрели они оттуда и на толпы людей, двигавшихся мимо их с утра до вечера. Все страны света выслали сюда своих представителей, чтобы старые лини и лещи, да юркие окуни и обросшие мхом карпы могли составить себе понятие и высказать своё мнение об этой породе живых созданий.

– Это чешуйчатые твари! – сказала покрытая тиною килька. – Но они меняют чешую по несколько раз в день и издадут ртом звуки, которые называют речью. Мы не меняем чешую так часто и объясняемся друг с другом гораздо проще: движением губ, да тарашением глаз. Мы во многом опередили людей!

– Плавать-то они всё-таки выучились! – сказала маленькая пресноводная рыбка. – Я из большого внутреннего озера; так вот там люди плавают в тёплую погоду, но сначала снимают с себя чешуи! Плавать же их выучили лягушки, – они тоже отталкиваются задними лапами и гребут передними, но недолго выдерживают. Они хотят походить на нас, да нет, шалишь! Бедные люди!

И рыбы тарасили глаза, воображая, что толпа людей, которых они видели при ярком дневном свете, всё ещё двигается мимо; да, они были вполне уверены, что всё ещё видят тех же самых людей,

которые – так сказать – впервые потрясли их зрительные нервы. Маленький окунь, с красивой тигровой чешуёй и завидно горбатую спиной, уверял, что «человечья тина» всё ещё тянется мимо, – он отлично видел её!

– Я тоже вижу её, ясно вижу! – подхватил золотистый линь. – Я ещё вижу и эту красивую, хорошо сложенную человеческую фигуру «длинноногую женщину», или как там её зовут? У неё были такие же движущиеся уголки губ и горящие глаза, как у нас, два шара сзади и сложенный зонтик спереди, да ещё бахрома из тины и разные побрякушки! Ей бы следовало поснимать с себя всё это, да ходить как мы, как создала природа, вот тогда бы и она походила на почтенного линя – насколько вообще люди способны походить на нас!

– А куда девался тот человек-самец, которого тащили на удочке? Он сидел в тележке, в руках у него была бумага, чернила и перо, и он всё записывал, да отмечал что-то. Что он изображает? Другие называли его репортёром.

– Он всё ещё катается тут! – сказала обросшая мхом девица из породы карасей, поперхнувшаяся житейским опытом и потому несколько охрипшая. Она проглотила когда-то крючок и терпеливо носила его в горле до сих пор. – Репортер! – продолжала она. – Выражаясь проще, понятнее, по-рыбьи, это своего рода «чернильная рыба» между людьми.

Так-то судили, да рядили рыбы. А в искусственном гроте раздавались удары молотка и пение рабочих; им приходилось пользоваться и ночным временем, чтобы поскорее довести дело до конца. Голоса их убаюкивали Дриаду в её «сне в летнюю ночь». Она стояла тут же, в пещере, готовая опять улететь, исчезнуть.

– Да, ведь, это золотые рыбки! – сказала она, кивая им головою. – Так я всё-таки увидела вас! Да, да, я знаю вас! Давно знаю! Мне рассказывала о вас на родине ласточка. Какие вы хорошенькие, блестящие, милые! Просто перецеловала бы вас всех до единой! Я и других знаю! Вот этот, верно, жирный карась, этот – вкусный лещ, а вот и старые обросшие мхом карпы! Я знаю вас всех! Вы же меня нет!

Рыбы глазели на неё в полумраке, не понимая ни слова.

Минута – и Дриады уже не было там; она опять очутилась на

вольном воздухе, где «чудо света» – исполинский цветок распространял благоухание всевозможных стран земных: страны чёрного хлеба, побережья, где ловится треска, царства русской кожи, берегов кельнской воды и дальнего Востока, страны розового масла.

Возвращаясь домой с бала, мы ещё ясно слышим в полудремоте звуки бальных мелодий; они как бы запечатлелись в нашем ухе, мы могли бы, кажется, спеть каждую; в зрачках убитого, тоже говорят, отпечатывается снимок того, что видели его глаза в последний момент, так вот, и выставка так же сохраняла ещё отпечатки дневной суеты и шума; жизнь не замирала здесь окончательно; даже ночью Дриада угадывала её и знала, что завтра всё опять закипит, загремит здесь по-прежнему.

Она стояла среди благоухающих роз, в которых, казалось, узнала старых знакомок со своей родины – роз из дворцового парка и сада священника. Увидела она здесь и гранатовые цветы; такие же носила в своих чёрных кудрях Мария!

Воспоминания детства, мысли о родине мелькали в голове Дриады одни за другими, взор же её упивался в это время дивным зрелищем выставки, лихорадочное беспокойство быстро гнало её по диковинным залам.

Наконец, она почувствовала усталость, и усталость эта усиливалась с каждой минутой. Дриаду манило отдохнуть на мягких, разбросанных тут восточных подушках и коврах или спуститься вместе с плакучими ивами к самой воде и погрузиться в её глубину.

Но муха-подёнка не знает покоя. Сутки кончались через несколько мгновений.

Мысли её путались, она вся дрожала и бессильно опустилась на траву у журчащего источника.

– Ты вечно бьёшь из земли живую струёю! – сказала она воде. – Освежи же мой язык, утоли мою жажду!

– Я не живой родник! – ответила вода. – Меня приводит в движение машина.

– Поделись со мною своею свежестью, зелёная травка! – молила Дриада. – Дай мне хоть один из твоих душистых цветов!

– Мы умираем, если нас срывают! – ответили былинки и цветы.

– Поцелуй меня свежий ветер! Дай мне хоть один твой животворный поцелуй!

– Скоро солнце поцелует облака, и они вспыхнут ярким румянцем!

– сказал ветер. – И тогда – конец тебе, как придёт в своё время конец и всему этому великолепию! Да, не минет и года, как я опять буду играть здесь, на площади, мягким, сыпучим песком, вздывать и крутить по земле пыль, прах! Всё становится пылью, прахом!

Дриаду охватил страх, как женщину, которая перерезала себе в ванне сонную артерию и уже истекает кровью, но вдруг вновь проникается жаждою жизни. Она поднялась, сделала несколько шагов вперёд и снова беспомощно опустилась на землю перед маленькою церковью. Дверь была открыта, на алтаре горели свечи, раздавались звуки органа.

Что за музыка! Ничего такого Дриада ещё не слыхивала, и всё же в этих звуках ей чудилось что-то родное, знакомое. Они выливались из глубины сердец всего сотворённого Богом. Дриада внимала в них и шелесту старого дуба, и голосу старого священника, который рассказывал о великих деяниях, называл великие имена, говорил о том, что могло, что должно дать грядущим поколениям Божье создание, чтобы стяжать себе жизнь вечную!

Звуки органа росли, гудели, пели:

«Твоя тоска, твои желанья вырвали тебя с корнем из родной почвы! И вот, ты погибла, бедная Дриада!»

Мягкие ласкающие звуки, рыдая, замерли в воздухе; занялась заря, ветер прошумел:

– Сгиньте, мёртвые призраки! Солнце встаёт!

Первый луч упал на Дриаду. Образ её загорелся радужным блеском, как мыльный пузырь, готовый лопнуть, исчезнуть, превратиться в каплю, слезу, упасть на землю и испариться!

Бедная Дриада! Она блеснула росинкою, скатилась слезою и исчезла!

Солнце осветило «Фату-Моргану» Марсова поля, огромный Париж, маленькую площадь, обсаженную деревьями, фонтан, высокие дома и каштановое деревцо – увы! увядшее, печально поникнувшее ветвями! А вчера ещё оно было так свежо, полно жизни, как сама

весна!

«Оно погибло», говорили люди: «Дриада покинула его, исчезла как облако – неведомо куда!»

Сорванный, увядший каштановый цветок лежал на земле; его не вернула бы теперь к жизни никакая живая вода! И люди скоро втоптали его в прах.

Всё это случилось в действительности.

Мы сами были этому очевидцами во время всемирной парижской выставки 1867 г.

Да, наше время – сказочное, диковинное время!

---

<sup>[1]</sup>Пресвятая Дева Мария.

(Голосов: 1. Рейтинг: 1,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Дни недели



Дням недели тоже хотелось хоть разок собраться вместе и попить. Но каждый из них был на счету, они были так заняты круглый год, что это им никак не удавалось. Им нужно было выждать лишний день, а такой выдаётся только раз в четыре года

– в феврале високосного года; его прикидывают для уравнивания счетов.

Так вот, в этот-то день они и порешили собраться и попить, а так как в феврале празднуется масленица, то они решили кстати явиться «ряжеными», сообразно вкусу и значению каждого. Решено было плотно поесть, здорово выпить, говорить речи и без церемонии высказывать друг другу приятные и неприятные истины, как оно и подобает в дружеском кружке. Герои древности перебрасывались за столом обглоданными костями, а дни недели готовились перебрасываться плохими каламбурами, да разными ехидными остротами, какие только могут прийти в голову во время невинных масленичных забав.

Итак, день настал, и они собрались.

Господин Воскресенье, глава дней недели, явился в чёрном шёлковом плаще. Благочестивые люди подумали бы, что он надел пасторское облачение и собирается в церковь, дети же мирской суеты увидели бы, что он просто-напросто накинул на себя домино и собирается веселиться, а яркая гвоздика, красующаяся у него в петличке, означает красный фонарик, который выставляется у театральных касс и гласит: «Все билеты проданы, веселитесь же на славу!»

Понедельник, молодой человек, близкий родственник Воскресенья, большой любитель удовольствий, следовал за первым. Он бросал – как рассказывал сам – мастерскую всякий раз, как у дворца происходила смена караула, сопровождающаяся музыкой.

– Я люблю освежиться, послушать музыку – особенно Оффенбаховскую! Она не отягощает мозга, не затрагивает сердца, а только слегка щекочет под коленками, – так и подмывает пуститься в пляс, кутнуть, подраться и осветить себе дорогу домой фонарём под глазом, а потом всхрапнуть хорошенько! Вот на другой день – с Богом и за работу, пожалуй, я же первенец недели!

Вторник, как известно, был посвящён у древних северян Тюру, богу силы.

– Да, это ко мне и подходит! – сказал он. – Я ретивый работник, привязываю к сапогам купцов крылья Меркурия, осматриваю хорошо ли смазаны и вертятся ли как следует колёса

на фабриках, слежу за тем, чтобы портной сидел на верстаке, а каменщик на мостовой, чтобы каждый занимался своим делом! Я смотрю за порядком, вот почему я в полицейском мундире! Коли это не остроумно придумано, так попробуйте вы придумать что-нибудь поострее!

– А вот и я! – сказала Среда. – Я стою в середине недели, меня так и зовут «серединю». Я как приказчик среди магазина, как цветок в середине букета, стою, окружённая другими почтенными днями недели. Если мы идём все в ряд, друг за другом, то у меня три дня в авангарде и три в арьергарде. Смее думать, что я самая первая персона в неделе!

Четверг – день, посвящённый богу грома и молнии Тору, был одет кузнецом и держал в руках атрибуты этого бога: молот и медный котёл.

– Я самого знатного происхождения! – сказал он. – Я из языческого божественного рода! В северных странах меня посвятили Тору, в южных – Юпитеру, а они оба мастера греметь и сверкать молнией. Это уж наша фамильная черта!

И он ударил молотом по котлу, чтобы доказать своё высокое происхождение.

Пятница была одета, как и подобает молодой девушке, жрице Фрейи – в северных странах, и Венеры – в южных. Она, по её собственным словам, отличалась тихим, мягким нравом и только сегодня развернулась: сегодня, ведь, было 29-ое февраля, а этот день, согласно обычаям, являлся в старину днём свободы для женщин, – они могли свататься сами, не дожидаясь, когда к ним присватаются!

Суббота явилась старою ключницею, с метлой и прочими атрибутами чистки. Любимым блюдом её был чёрствый хлеб, сваренный в пиве, но она всё-таки не требовала, чтобы это блюдо было подано при сем торжественном случае всем; она готова была съесть его одна и съела.

И затем дни расселись по местам.

Так вот, они и обрисованы здесь все, и могут послужить образцами для живых картин в домашних спектаклях! Там могут изобразить их в таком смешном виде, в каком только сумеют. Мы же, изображая их, имели ввиду только карнавальную шутку, –

февраль единственный месяц в году, имеющий лишний день – месяц карнавала!

(Голосов: 1. Рейтинг: 1,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Кто же счастливейшая?

– Какие чудные розы! – сказал солнечный луч. – И каждый бутон распустится и будет такою же чудною розою! Все они – мои детки! Мои поцелуи вызвали их к жизни!

– Нет, это мои детки! – сказала роса. – Я кропила их своими слезами!

– А мне так кажется, что они мои родные детки! – сказал розовый куст. – Вы же только крёстные отец и мать, одарившие моих деточек кто чем мог.

– Мои прелестные детки! – сказали все трое в один голос и пожелали каждому цветку всякого счастья. Но только один из них мог оказаться самым счастливым из всех и один наименее счастливым.

Кто же именно?

– А вот я узнаю это! – сказал ветер. – Я летаю повсюду, проникаю в самые узкие щели, знаю, что делается и внутри и снаружи домов.

Каждая роза слышала, каждый бутон понял сказанное.

В сад пришла печальная мать в трауре и сорвала одну свежую, полураспустившуюся розу, которая показалась ей прекраснейшею из всех. Мать принесла цветок в тихую безмолвную комнату, в которой несколько дней тому назад резвилась её весёлая

жизнерадостная дочка. Теперь же девочка покоилась, словно спящее мраморное изваяние, в чёрном гробу. Мать поцеловала умершую, поцеловала и полураспустившуюся розу и положила её на грудь девочки, как бы надеясь, что свежий цветок, освящённый поцелуем матери, заставит снова забиться её сердечко.

И роза так и расцвела вся, пышно развернула свои лепестки, колебавшиеся от радостной мысли: «Какою любовью озарился путь моей жизни! Я как будто стала человеческим ребёнком, – мать поцеловала меня и благословила в путь – в неведомую страну! И я отправлюсь туда, покоясь на груди умершей! Конечно, я счастливейшая из всех моих сестёр!»

Потом, пришла в сад старая полольщица гряд; она тоже залюбовалась красотой куста и глаз не могла оторвать от самой большой, вполне распустившейся розы. Капля росы да один жаркий день ещё, и – лепестки опадут! Вот как рассуждала женщина и нашла, что роза покрасовалась довольно, – пора было извлечь из неё и пользу. И вот, она сорвала цветок, завернула его в газетную бумагу и отнесла домой, чтобы набальзамировать солью вместе с другими розами и смешать с засушенными голубыми лавандами, – выйдет чудесная душистая смесь! Такой чести, как бальзамирование, удостоиваются только розы да короли!

– Мне выпал на долю высший почёт! – сказала роза, которую сорвала полольщица. – Я – счастливейшая! Меня набальзамируют! Затем явились двое молодых людей; один – художник, другой – поэт. Каждый сорвал себе по прекрасной розе.

Художник изобразил цветущую розу на холсте, так что она увидела себя как в зеркале.

– Таким образом, – сказал художник: – она будет жить многие годы, в продолжение которых успеют завясть и умереть миллионы и миллионы роз!

– Мне посчастливилось больше всех! – сказала роза. – Я достигла высшего счастья!

Поэт полюбовался на свою розу и написал о ней стихи, целую поэму, в которой высказал всё, что прочёл на её лепестках. Вышла бессмертная поэма – «Альбом любви».

– Он обессмертил меня! – сказала роза. – Я счастливейшая!

Но среди этой массы прекрасных роз была одна, которая как-то

заслонялась другими; по воле случая – может быть и счастливого – у неё был изъян: она криво сидела на стебельке, лепестки её были расположены не совсем симметрично, и из середины чашечки выглядывал маленький свёрнутый зелёный листок. Случаются подобные изъяны и у роз.

– Бедное дитя! – говорил ветер и целовал её в щечку, а роза думала, что он приветствует, чествует её. Она сама чувствовала, что сложена как-то иначе, нежели другие розы, что из чашечки её выглядывает зелёный листок, но смотрела на это не как на изъян, а как на отличие. Вот на неё вспорхнул мотылёк и поцеловал её лепестки; это был жених, но она не стала удерживать его. Потом явился огромный кузнечик; он уселся на другую розу и принялся влюблённо потирать ножки, – это признак влюблённости у кузнечиков. Роза, на которой он сидел, не поняла этого; зато поняла роза с изъяном – свёрнутым зелёным листком; на неё-то как раз и устоялся кузнечик, а глаза его так и говорили: «Съел бы я тебя от пущей любви!» А уж, известно, дальше этого никакая любовь не может идти: один исчезает в другом! Но роза не имела ни малейшего желания исчезнуть в этом прыгуне.

Звёздную ночью запел соловей.

– Это он для меня поёт! – сказала роза с изъяном или с отличием. – И за что это меня во всём постоянно отличают от других сестёр! Почему именно мне выпало на долю это отличие, благодаря которому я стала счастливейшей?

Тут в сад зашли два господина; они курили сигары и вели разговор о розах и табаке: правда ли, что розы не переносят табачного дыма – зеленеют? Надо было произвести опыт. Но они пожалели красивейшие розы и взяли для опыта розу с изъяном.

– Вот новое отличие! – сказала она. – Я уж чересчур счастлива! Я счастливейшая из счастливейших!

И она вся позеленела от этого сознания и табачного дыма.

Одна из роз, едва начавшая распускаться и, может быть, самая прекрасная на всём кусте, заняла почётное место в искусно подобранном садовником букете. Букет отнесли важному молодому господину, владельцу дома и сада, и тот повёз его с собою в карете. Роза сидела между другими цветами и зеленью словно

царица красоты. И вот, она очутилась на блестящем празднике. Повсюду сидели разряженные мужчины и дамы, залитые светом тысяч ламп. Музыка гремела, театр утопал в море света. При восторженных криках зрителей на сцену выпорхнула юная танцовщица – любимица публики, и к ногам её посыпался целый дождь цветов. Упал к её ногам и букет с розой, сиявшей в его середине как драгоценный камень. Роза чувствовала всю честь, всё безмерное счастье, выпавшие ей на долю, но вот букет коснулся пола, стебелёк её переломился, она выскочила из букета и покатилась по полу. Не пришлось ей попасть в руки виновницы торжества, – она откатилась за кулисы. Там увидел её машинист и поднял. Она была так хороша, так чудно пахла, но стебелька у неё не было! Он взял и положил её прямо в карман, а потом отнёс домой. Там роза очутилась в рюмке с водой и пролежала в ней всю ночь. Рано утром её поставили на стол перед старою бабушкой, беспомощно сидевшею в кресле. Как она любовалась прекрасною розою без стебелька, как наслаждалась её запахом!

– Да, ты не попала на роскошный стол важной барышни, попала к бедной старухе! Зато здесь ты заменяешь целый розовый куст! Как ты хороша!

И старушка с детской радостью смотрела на цветок, вероятно вспоминая при этом свою давно минувшую юность.

– В оконном стекле была дырочка! – рассказывал ветер. – Я легко пробрался через неё и видел, каким юношеским блеском сияли глаза старушки, любовавшейся на розу без стебелька в рюмке с водой. Я знаю, которая из роз была счастливее всех! Я могу рассказать это!

У каждой розы была таким образом своя история, каждая верила, что она счастливейшая, а, ведь, блажен, кто верует!.. Но последняя из роз на кусте всё-таки считала себя самую счастливейшею.

– Я пережила всех! Я последнее, единственное, любимейшее дитя у отца!

– И я – отец им всем! – сказал розовый куст.

– Нет, я! – возразил солнечный свет.

– Нет, я! – сказали в один голос ветер и погода.

– Каждый имеет на них свои права!? – сказал ветер. – И каждый получит свою долю! – И он развеял лепестки, окроплённые сиявшими в лучах солнца капельками росы. – И мне кое-что досталось! – прибавил он. – Я узнал историю каждой розы, и разнесу их по всему свету!

Так вот, которая же из роз счастливейшая? Да, скажите-ка это мне вы, я уже сказал довольно!

(Голосов: 1. Рейтинг: 1,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Альбом крёстного



Мастер был крёстный рассказывать. Сколько он знал разных историй – длинных, интересных! Умел он также вырезать картинки и даже сам отлично рисовал их. Перед Рождеством он обыкновенно доставал чистую тетрадку и начинал наклеивать в нее картинки, вырезанные из книжек и газет; если же их не хватало для полной иллюстрации задуманного рассказа, он сам пририсовывал новые. Много дарил он мне в детстве таких

тетрадок, но самую лучшую получил я в тот «достопамятный год, когда Копенгаген осветился новыми газовыми фонарями вместо прежних ворванных». Это событие и было отмечено на первой же странице.

– Этот альбом надо беречь! – говорили мне отец и мать. – Его и вынимать-то следует только в особых случаях.

Но крестный надписал на обложке:

Коль книжку разорвешь – беды еще нет!

Другие похуже творили, мой свет!

Лучше всего было, когда крестный сам показывал альбом, читал стихи и прочее, что в нем попадалось, а к этому еще многое добавлял от себя. Вот тогда-то история становилась настоящей историей!

На первой странице красовалась картинка, вырезанная из «Летучей почты»<sup>[1]</sup>; на ней виднелась «Круглая Башня» и церковь Богоматери; левее этой картинки была наклеена другая, изображавшая старый фонарь с надписью: «Ворвань», а правее – третья, изображавшая новый фонарь с газовыми рожками и надписью: «Газ».

– Это афишка! – говорил крестный. – Она служит введением к истории, которую сейчас расскажу тебе. Из нее можно было бы выкроить хоть целую комедию: «Ворвань и газ, Или жизнь и приключения Копенгагена». Вот только сумеют ли поставить ее? А заглавие хоть куда! Внизу страницы видна еще картинка. Ее не так-то скоро поймешь! Придется пояснить. Это – мертвая лошадь; место ее на последней странице альбома, а она, вишь, забежала вперед! И забежала с целью объявить, что ни начало, ни середина, ни конец альбома никуда не годятся! Она сумела бы сделать куда лучше, если бы вообще умела. Днем – скажу я тебе – она гуляет на привязи по газетным столбцам, вечером же вырывается на волю, подбегает к дверям поэта и ржет, что поэт вот-вот Богу душу отдаст. Но поэт и не думает умирать, если только в нем действительно живая душа. Мертвая лошадь почти всегда очень жалкое существо, которое не может даже разобраться в собственном «я» и добывает себе хлеб насущный

только беганием да ржанием. Я уверен, что ей наш альбом совсем не по вкусу, но из этого все-таки еще не следует, что он не стоит хотя бы бумаги, из которой шит! Так вот тебе первая страница альбома – афишка.

Дело было как раз в тот последний вечер, когда еще горели старые фонари. Город только что обзавелся новыми газовыми, и они сияли так, что старых почти и не видно было.

– Я как раз бродил в этот вечер по улицам! – рассказывал крестный. – Люди разгуливали взад и вперед, сравнивая новое и старое освещение. Народу было много, и вдвое больше ног, чем голов. Ночные сторожа ходили, повеся головы, раздумывая о том, скоро ли и их упразднят, как старые фонари. А те вспоминали далекое прошлое – о будущем они думать не смели. И чего-чего только ни вспоминалось им, какие тихие вечера, темные ночи!.. Я стоял, опершись о фонарный столб; фитиль в фонаре трещал и шипел; я вслушался в его речь. Послушай и ты!

«Мы делали, что могли! Мы отслужили своему времени, светили людям на радость и на горе. Много важных событий мы пережили. Мы служили, так сказать, ночными глазами Копенгагена. Пусть же теперь нас сменят новые светила. Но сколько лет им придется светить и что освещать – скажет лишь время. Правда, они светят поярче нас, стариков, но это и немудрено! У газовых фонарей столько связей, они сильны взаимной поддержкой! От них во все стороны, во все концы идут трубы, по которым к ним притекают силы из города и из-за города! А мы-то, старые фонари, обходимся собственными средствами, не прибегаем за помощью к семейным связям. Мы и наши предки светили Копенгагену с незапамятных времен. А вот теперь пришел нашему горению последний вечер, и мы стоим, так сказать, во второй шеренге, вы заслоняете нас собою, яркие товарищи! Но мы не станем хмуриться или завидовать, нет! Мы весело и добродушно уступим вам свой пост, как старые часовые молодым драбантам, одетым в более блестящий мундир, нежели их. Хотите, мы расскажем вам, что пережил и перевидал наш род, начиная с нашего прапрапрадедушки-фонаря? Расскажем вам всю историю Копенгагена и пожелаем, чтобы вы и ваши потомки до последнего газового фонаря пережили столько же, могли бы поведать о стольких же

важных событиях, как мы, когда вы, в свою очередь, будете отставлены от должности. А это рано или поздно случится! Вы должны к этому готовиться. Люди додумаются до еще более яркого освещения. Я даже слышал от одного прохожего студента, что уже поговаривают о том, как бы заставить гореть воду морскую!»

И фитиль в фонаре зашипел, словно в ворвань и в самом деле влили воды.

Крестный подумал, подумал и нашел, что старый фонарь блеснул прекрасной идеей – рассказать в этот последний вечер, когда Копенгаген перешел от ворвани к газу, историю города.

– А хорошими идеями надо пользоваться! – сказал крестный. – Я живо отправился домой и сделал для тебя этот альбом, но зашел в нем куда дальше, чем могли фонари. Вот тебе альбом, вот и история:

### **«Жизнь и приключения Копенгагена»**

Начинается она непроглядным мраком – черной страницей; это времена доисторические.

– Теперь перевернем страницу! Видишь картинку? Дикая морская пучина; над ней проносится северо-восточный ветер. Он гонит тяжелые льдины; на них плывут только огромные каменные глыбы, оторвавшиеся от скал Норвегии. Ветер гонит льдины; он хочет показать германским горам образчики северных скал. Ледяная флотилия уже в Зунде, у берегов Зеландии, где ныне расположен Копенгаген, но тогда о нем еще и помину не было. Под водой шли обширные мели; на одну-то из них и сели несколько льдин с каменными глыбами. Застряла и вся ледяная флотилия; ветер никак не мог двинуть ее дальше, расшвирился до последней степени и принялся проклинать эту «воровскую мель». Он клялся, что если только она когда-либо подымет над поверхностью морской, на ней поселятся вору и разбойники, воздвигнутся виселицы, колеса и дыбы.

Но в то время как он клялся и бранился, выглянуло солнышко, а на его лучах качались светлые, кроткие духи, дети света. Они закружились над льдинами воздушным хороводом, те растаяли, и каменные глыбы погрузились на дно.

«Ах вы, солнечные козявки! – зашумел ветер. – Так-то вы! Это по-товарищески, по-родственному? Припомню же я вам это и отплачу! Проклинаю вас!»

«А мы благословляем! – запели дети света. – Благословляем эту мель! Она будет расти, мы станем охранять ее. На ней воцарятся истина, добро и красота!»

«Фью! Мелите чепуху!» – просвистал ветер.

– Вот об этом-то фонаре не могли рассказать тебе! – заметил крестный. – А я могу, для истории же Копенгагена эти обстоятельства имеют важное значение.

– Теперь перевернем страницу! – продолжал крестный. – Прошли годы; мель высунулась из воды. Взгляни на картинку. На первый же показавшийся из воды камень уселась морская ласточка. Прошли еще годы. Море выбрасывало на мель мертвую рыбу и сухие водоросли; все это гнило, разлагалось и удобряло почву. Скоро на ней появились разные сорта трав и злаков, и мель превратилась в зеленый остров. На него стали высаживаться для единоборств викинги – пролив между островом и Зеландией представлял удобную стоянку для кораблей.

Вот зажгли первую площадку с ворванью; над нею, пожалуй, рыбаки жарили рыбу, а ее здесь было вдоволь. Сельди шли через Зунд такими стаями, что сквозь них не пробиться было лодке. Под водой, казалось, вспыхивали зарницы, зажигались снопы северного сияния! Обилен был рыбой Зунд, и по берегам Зеландии быстро вырастали рыбачьи поселки. Стены домов были бревенчатые, а кровли крыты древесной корой; в лесе для построек недостатка тут не было. В гавань заходили корабли. На колеблющихся снастях покачивался фонарь с ворванью. А северо-восточный ветер шумел и гудел: «У-у-у!» Если же мерцал огонек на острове, то это был воровской огонек. При свете его обделывали свои дела воры и контрабандисты.

«Сбудется, сбудется по-моему! – шумел ветер. – Скоро тут вырастет дерево, с которого я буду стряхивать плоды!»

– Вот оно, это дерево! – прибавил крестный. – Видишь виселицы на Воровском острове? На ней висят разбойники и грабители, точь-в-точь как висели тогда. Ветер постукивал остовы

мертвецов один о другой, а месяц освещал их с такой же довольной миной, с какой освещает теперь какую-нибудь пирушку в лесу. Солнце тоже самодовольно светило на них и высушивало качающиеся остовы. Дети же света пели: «Знаем, знаем все! Здесь все-таки настанут лучшие времена! Пышно расцветут здесь истина, добро и красота!.. »

«Чешите, чешите языки попусту!» – ревел ветер.

– Теперь опять перевернем страницу.

В Роскильде звонят в колокола; там живет епископ Абсалон. Он и в Библии начитан, и мечом владеет. Сильна его власть, силен он и волею. И вот он хочет защитить от разбойничьих набегов и грабежей тружеников-рыбаков, возведших город, основавших на Зеландском берегу торговый рынок. Сначала он освящает Воровской остров, кропит его святой водой, затем там воздвигается по его приказу крепость. Каменщики и плотники работали в поте лица, а солнечные лучи целовали воздвигавшиеся красные кирпичные стены.

Наконец Акселев<sup>[2]</sup> дом готов:

С башнями высокими,  
Крыльцами широкими  
Замок стоит!  
Ветер шумит,  
Мечет и рвет,  
Грозно ревет!  
Силы лишь тратит,  
С замком не сладит!

А против замка гавань, купеческая гавань –

Терем царевны морской  
В роще зеленой, прохладной.

Из чужих земель являлись покупщики рыбы; на берегу начали строиться лавки и дома с окнами, затянутыми пузырем вместо стекла – стекло было дорого. Вот уж выстроился и склад для

товаров, большое здание с кровлей «щипцом», а близ него подъемный ворот. Видишь, по лавкам сидят старые приказчики? Они не смеют жениться! Торгуют же они инбирем и перцем – вот тебе и «перечные молодцы!».

Северо-восточный ветер проносится над улицами и переулками, поднимает пыль, срывает соломенные крыши. По улицам расхаживают коровы и поросята.

«Разрушу, уничтожу! – ревет ветер. – Буду свистать вокруг домов и Акселева дома! Я не ошибся! Люди уже зовут этот дом Замок пыток на Воровском острове!»

И крестный показал мне картинку, которую сам нарисовал. Замок был обнесен высокой стеной, а та частоколом, и на каждом коле скалила зубы голова казненного пирата.

– Все это так и было на самом деле! – сказал крестный. – И об этом стоит знать да поразмыслить!

Сидит раз епископ Абсалон в купальне и слышит сквозь тонкую перегородку, что в гавань вошел воровской корабль. Живо выскочил он из купальни, кинулся в свою лодку, затрубил в рог... Люди сбежались, вслед разбойникам полетели стрелы... Те гребли изо всех сил, стрелы впивались им в руки, но вынимать их было некогда. Епископ Абсалон переловил всех, со всех велел снять головы и воткнуть их на колья вокруг замка. Северо-восточный ветер надул щеки и продолжал реветь: «Тут я растянусь на отдых, буду любоваться на это зрелище!» Но отдыхал-то он часы, ревел же по суткам, и – годы шли.

– На башню замка восходит сторож и озирается во все стороны: на север, на юг, на восток и запад. Вот видишь картинку! – сказал крестный. – Ты видишь сторожа, а что видит он, я расскажу тебе.

От самых стен Замка пыток вплоть до Кьёгской бухты расстилается открытое море. Широкий путь кораблям, плывущим мимо берегов Зеландии! Напротив равнин Серритслевской и Сольбьергской, где расположены большие поселки, вырастает новый город с домами наполовину из дерева, наполовину из камня. Образуются особые кварталы башмачников, кожевников, торговцев пряностями, пивом. В городе есть рынок и цеховое управление, а на самом берегу, где прежде был остров,

возвышается великолепная церковь св. Николая, с башнями и вызолоченным шпилем. Как она отражается в прозрачной воде! Неподалеку же от нее возвышается церковь Богоматери, где идут обедни, курится ладан, теплятся восковые свечи. Купеческая гавань стала резиденцией Роскильдского епископа.

В Акселевом доме живет епископ Эрландсен. В кухне шипит, в горницах льется мед и кларет, раздаются звуки скрипок и барабанов, пылают свечи и лампы; замок весь залит огнями, светится, словно фонарь для всей страны и государства. Ветер дует на башни и стены, но их не сорвешь – стоят крепко. Дует он и на восточное укрепление города – старый деревянный забор. Но и он постоит за себя!

По ту сторону забора стоит король Дании Христофор I. Бунтовщики разбили его у Скельскера, и он ищет теперь убежища в епископском городе.

А ветер свистит, повторяя ответ епископа: «Оставайся-ка там! Город закрыт для тебя!»

Беспокойные настали времена, тяжелые выпали дни. Каждый хочет быть сам себе господином. На башне замка развевается голштинское знамя. Жалобы, стенания, мрак ужаса окутали страну; междоусобица, черная смерть царят в ней, но вот над нею опять занялась заря – на престол взошел Вальдемар Аттердаг<sup>[3]</sup>.

Епископский город стал королевской резиденцией. Есть в нем и дома с кровлями «щипцом», и узкие улицы, и сторожа, и ратуша, и даже каменная виселица у западных ворот. На ней вешают только городских жителей, пришельцы не удостоиваются такой чести. Только граждане копенгагенские могут болтаться так высоко в воздухе и любоваться городом Кьёге и кьёгскими курами!

«Вот так виселица! – шумит северо-восточный ветер. – Красота и впрямь здесь процветает!» И он принялся свистеть и шуметь еще пуще. Из Германии повеяло обидой и горем.

– Ганзейцы поднялись на Данию! – рассказывал крестный. – Они покинули свои склады и прилавки! Богатые купцы из Ростoka, Любека и Бремена, стащив золотого гуся<sup>[4]</sup> с Вальдемаровой башни,

все-таки не уgomонились! Им хочется распоряжаться всем. А они и так уж распоряжались в городе датского короля больше самого короля! И вот они явились на вооруженных кораблях; датчане были захвачены врасплох. Да король Эрик и не намеревался драться с немецкими родичами – их было так много, они были так сильны, – а взял да бежал со всем своим двором через западные ворота города в Сорё, в густую зелень лесов, к тихим озерам. Громко зазвучали там любовные песни, зазвенели кубки!..

Но в Копенгагене билось еще одно царственное сердце, осталась еще одна царственная душа. Видишь на картинке нежную, изящную молодую женщину с голубыми очами и золотисто-льняными волосами? Это королева Дании Филиппа, английская принцесса. Она осталась в смятенном городе, где на узких улицах и в переулках, возле сараев и закованных лавочек, на приставных лестницах, без толку суетились люди. Королева была женщиной и сердцем и душой. Она созвала граждан и крестьян, ободрила их, организовала защиту города. Корабли вооружились, в крепостцах засели воины, загремели орудия, клубы дыма повисли в воздухе... Люди воспрянули духом. И Господь не покинул Дании! Солнышко светит во всех сердцах, все очи светятся радостью: победа, победа!

Благословенна будь ты, королева Филиппа!

Ее благословляют и в хижинах, благословляют и в хоромах, и в королевском дворце, где она заботится о раненых и больных. Я вырезал веночек и окружил им эту картинку! – прибавил крестный. – Благословенна будь, королева Филиппа!

– Теперь мы перескочим через многие годы! – продолжал крестный. – Перескочит с нами и Копенгаген. Король Христиан I побывал в Риме, получил благословение папы, и на всем протяжении долгого пути народ встречал его ликованием и почестями. Вернувшись на родину, он возводит здание из обожженного кирпича – питомник науки на латинском языке. Теперь и дети бедняков земледельцев и ремесленников могут выйти в люди, одеться в длинный черный студенческий плащ и пробиваться подачками граждан, распевая перед их дверями.

А возле дома науки, где все идет по-латыни, стоит маленький

домик; в нем господствуют датский язык, датские обычаи. К завтраку там подают хлеб, сваренный в пиве, обедают в десять часов утра. Солнышко светит через маленькие окошечки на буфет и книжный шкаф. В шкафу лежат драгоценные рукописи: «Розовый венок» и «Божественные комедии» Миккельса, «Лечебник» Генрика Гарпестренга и «Рифмованная хроника Дании» отца Нильса из Соре. Эти рукописи должен знать каждый датчанин, говорит хозяин дома, и благодаря ему их узнают. Он первый датский типографщик, голландец Готфред ван Гемен. Он «чернокнижник», печатает черной краской книги, занимается благословенным искусством книгопечатания.

Книги расходятся, попадают и во дворец короля, и в дома граждан. Старинные поговорки и песни возрождаются к вечной жизни. Птица народной песни поет о том, чего не смеет высказать в горе или радости человек, поет хоть и иносказательно, но все-таки понятно для всех. Она летает где хочет, залетает и в комнату простого горожанина, и в рыцарский замок, сидит и клеочет соколом на руке благородной девицы, проскальзывает и пискливой мышкой в щелочку к закованному в цепи крестьянину.

«Все чепуха!» – ревет свирепый северо-восточный ветер.

«Весна настала! – поют солнечные лучи. – Вон как всходят зеленые ростки!»

– Перевернем еще страницу! – сказал крестный. – Как сияет Копенгаген! Какое готовится торжество! Взгляни на благородных рыцарей в доспехах, на знатных дам в шелку и золоте! Король Ганс выдает свою дочь Елисавету за курфюрста Бранденбургского. Как она молода, как сияет радостью! Она ступает по бархату, будущее ей улыбается, ее ждет семейное счастье! Рядом с нею брат ее, принц Христиерн, смуглый, горячий юноша с мрачным взглядом. Но он дорог народу; он знает, как подавлен народ, и будущее бедняков заполонило все его мысли.

Один Бог управляет счастьем!

– Опять перевернем страницу! – продолжал крестный. – Резкий ветер поет об острых мечах, о мрачных тяжелых временах.

Холодный апрельский день. Зачем собираются толпы народа перед дворцом, возле старой таможни? У берега стоит под парусами и с поднятым флагом королевское судно. В окнах, на крышах – всюду народ. На лицах у всех печаль, горе, боязливое ожидание. Все взоры обращены на дворец, где прежде в раззолоченных покоях шли танцы с факелами; теперь там тихо, пусто. Все смотрят на выступ с окном, из которого часто и подолгу смотрел король Христиерн через дворцовый мост в маленький переулок, где жила его Голубка, голландская девушка, вывезенная им из Бергена. Теперь ставни заперты наглухо. И вот ворота отворяются, подъемный мост опускают, из дворца выходит король Христиерн в сопровождении верной супруги; она не захотела покинуть в жестокой нужде своего царственного мужа и повелителя.

Огонь кипел в его жилах, горел в его мозгу. Он хотел порвать со стариной, разбить оковы крестьянина, оказать покровительство горожанину и подрезать крылья «хищным ястребам», но их было слишком много! И вот он покидает свою родину, свое государство, отправляется за помощью к друзьям и родичам. Супруга его и верные слуги следуют за ним на чужбину. Тяжелый час разлуки выжал у всех из глаз слезы.

Время сложило о нем песнь; в ней сливаются три хора. Слушай, что поют дворяне; их слова и записаны и напечатаны:

«Горе тебе, Христиерн Лютый! Кровь, пролитая тобою в Стокгольме, вопиет против тебя! Горе тебе! Будь проклят!»

Хор монахов тоже осуждает его: «Отринут ты Богом и нами! Ты призвал сюда ересь Лютера, отдал ей во власть церкви и кафедры, предоставил слово дьяволу!.. Горе тебе, Христиерн Лютый!»

Но крестьяне и горожане горько плачут: «Христиерн, любезный народу! «Нельзя продавать крестьян как скот или обменивать на охотничьих собак!» Закон этот послужит тебе хвалебным гимном!» Но слова бедняков разносятся по ветру, что мякина.

Корабль проплывает мимо замка, горожане бегут на вал взглянуть еще раз на уплывающее королевское судно.

Долго тянется время в нужде, и не ищи тогда опоры в друзьях и родичах!

Дядя короля, Фредерик Кильский, не прочь стать королем Дании. И вот он уже король и подступает к Копенгагену. Видишь эту картинку с надписью «верный Копенгаген»? Над ним сгустились черные облака, образующие зловещие фигуры и картины. Рассмотрю каждую! Они говорят о тяжелых горьких временах, память о которых еще жива в народных песнях и сказаниях.

А где же скитается король Христиерн, бесприютная птица? Об этом поют птицы небесные: они летают далеко за море, в чужие страны. Ранней весной вернулся с юга аист; он пролетал над немецкой землей и видел там вот что:

«По степи, поросшей вереском, ехал беглец, король Христиерн; на пути встретила ему жалкая повозка в одну лошадь. В повозке сидела женщина, сестра короля, маркграфиня Бранденбургская. Муж прогнал ее от себя за ее верность учению Лютера. Царственные изгнанники встретились в мрачной степи! Долго тянется время в нужде, и не ищи тогда опоры в друзьях или родичах!»

Ласточка прилетела из Сендерборгского замка и жалобно запела: «Короля Христиерна обманули! Он сидит теперь в мрачной башне. Тяжелые шаги его оставляют следы на каменном полу, пальцы проводят борозду в твердом мраморе стола».

Язык так словами не выскажет горе,

Как высказал мрамор немую чертой!<sup>[5]</sup>

Морской орел прилетел с вольного моря; по морю гуляет корабль, на нем носится отважный фионец Серен Норбю<sup>[6]</sup>. Счастье покровительствует ему, но счастье, что ветер да погода, – переменчиво!

В Ютландии и Фионии каркают вороны и вороны: «Нам везет! Славно! Всюду падаль и трупы людей!»

Беспокойные, тяжелые времена! Идет «графская распря». Крестьянин хватается за дубину, купец за нож. «Перебьем всех волков, не оставим ни единого волчонка!» – кричат они. Над пылающими городами поднимаются облака дыма.

Король Христиерн заточен в Сендерборгском замке. Никогда не выйти ему на волю, не увидеть Копенгагена и его тяжелой беды.

На «Северном выгоне» стоит сын Фредерика Христиан III. В городе – смятение, голод и чума.

Прислонясь спиной к церковной стене, сидит исхудалая женщина в лохмотьях. Она уже умерла, но двое ребятишек на ее коленях еще живы и сосут кровь из груди мертвой.

Мужество истощилось, сопротивление сломлено. О, «верный Копенгаген!»

Чу! Раздаются звуки фанфар и труб, грохот барабанов!

В роскошных одеждах из шелка и бархата, с развевающимися перьями на шляпах, верхом на конях в золотых уборах, едут благородные дворяне на Старую площадь. Едут они на обычную карусель или турнир? Горожане, также в лучших своих нарядах, стекаются туда же. Какое зрелище манит их? Воздвигнут ли на площади костер для сожжения папистских образов, или опять стоит там палач, как у того костра, на котором сожгли Слагхёка<sup>[7]</sup>? Нет, король, господин страны, стал лютеранином, и об этом-то хотят оповестить датский народ.

Знатные дамы и благородные девицы в платьях с высокими воротниками, в шапочках, унизанных жемчугом, сидят у открытых окон и смотрят на торжество. Близ королевского трона, на разостланном сукне, под навесом из сукна, восседают, в старинных одеяниях, члены Государственного совета. Король молчит. Воля его, утвержденная советом и выраженная на датском языке, читается вслух. Жестокие упреки приходится выслушивать гражданам и крестьянам за их сопротивление высшему сословию. Граждан унижают, крестьян отдают в рабство. Затем производится суд и над епископами страны. Могуществу их конец. Все церковные и монастырские богатства и угоды отходят к королю и дворянству.

С одной стороны высокомерие, с другой – ненависть, с одной – безумная роскошь, с другой – стоны нищеты,

Да, жалобно бедная птица пищит,  
Богатая ж гордо крылами шумит!

Смутное, переходное время! Тучи чередуются с ясным солнышком. Лучи его светят во Двор науки, в жилище студентов и озаряют

имена, которые продолжают сиять и поныне. Ганс Таусен, сын бедного фионского кузнеца, стал «датским Лютером, действовал словом, как мечом, и завоевал сердце датского народа». Сияющими латинскими буквами написано на фоне времен и имя Петра Палладиуса – по-датски же Петра Пладе – епископа Роскильдского, тоже сына бедного ютландского кузнеца. Из дворянских имен ярким блеском светится имя Ганса Фриса, государственного канцлера. Он сажает бедняков-студентов за свой стол, заботится и о них, и о школьниках. Но громче всего раздаётся «ура» в честь самого короля Христиана, покровителя наук и искусств, и оно не умолкнет, пока в Копенгагене останется хоть один студент.

Да, сквозь темные тучи прорывались в это смутное время и лучи солнца!

– Перевернем страницу.

Что за песнь несется с Большого Бельта, омывающего берега острова Самс? Из моря подымается морская царевна с зелеными, как водоросли, волосами и предсказывает крестьянину рождение принца, который станет могучим, великим государем!

Родился он в чистом поле под цветущим терновым кустом. Теперь имя его цветет в песнях и преданиях, во всех усадьбах и замках. При нем выросла биржа с башней и шпицем, воздвигся замок Розенборг и глянул вдаль через городской вал, у студентов завелся свой дом, а против него вознесла к небу свою главу Круглая башня, колонна Урании. Она смотрит на остров Веен, где возвышается замок Ураниенборг с золочеными куполами. Как они блестят при свете месяца, когда морские царевны поют о хозяине замка, которого посещали короли и величайшие люди века, об избраннике духа, о высокорожденном Тихо Браге. Он поднял имя Дании высоко-высоко, к звездному небу, чтобы оно сияло оттуда всем просвещенным странам мира, а Дания за это оттолкнула его прочь. Он же утешал себя в изгнании:

Не то же ли небо повсюду?

Чего же желать мне еще?<sup>[8]</sup>

И песня его обрела бессмертие народной песни, как и пророчество морской царевны о Христиане IV.

– А вот на эту страницу гляди в оба! – сказал крестный. – Тут картинка идет за картинкой, как в богатырской песне строфа за строфой. Веселое начало у этой песни, да печальный конец.

В королевском дворце резвится девочка. Как она мила! Она часто сидит у короля на коленях. Это любимая дочка Христиана IV Элеонора-Христина. Ее воспитывают в правилах строгой нравственности и женской добродетели, и она уже обручена с знатнейшим представителем дворянства Корфицем Ульфельдом. Но она еще дитя, и строгая гофмейстерина наказывает ее розгами. Элеонора жалуется своему милому, и она права. Как она умна, воспитанна, образованна; она знает языки латинский и греческий, поет по-итальянски, играет на лютне, здраво судит и о папе, и о Лютере.

Король Христиан покоится в усыпальнице Роскильдского собора. Королем – брат Элеоноры. В Копенгагенском дворце царят блеск и роскошь, красота и остроумие. Сама королева, София-Амалия Люнебургская, на первом плане. Кто искуснее ее правит лошадь? Кто поспорит с ней в величественной грации, в уме и красноречии?

«Элеонора-Христина Ульфельд! – это сказал французский посланник да еще прибавил: – Она всех затмевает своей красотой и умом!»

По блестящему дворцовому паркету катятся репейные шишки зависти; они растут, цепляются, пробираются всюду, и к ним пристаёт оскорбительная насмешка: «Побочная дочь! Ее колесница должна останавливаться у дворцового моста; там, где королева проезжает в экипаже, простая женщина может пройти пешком!» Сплетни, выдумки и ложь крутятся в воздухе, словно хлопья снега в метель.

Глухой ночью Ульфельд берет свою жену за руку и выводит из дворца; ключи от городских ворот хранятся у него; за воротами ждут их оседланные кони. И вот они мчатся вдоль берега, а затем отплывают в Швецию.

Перевернем страницу. Так же повернулось спиной к беглецам счастье!

Осень; дни короткие, ночи длинные, серо, сыро; ветер так и режет, так и шумит в вершинах деревьев, растущих на валу; листва засыпает опустевший двор Педера Оксе<sup>[9]</sup>, покинутый своими хозяевами. Шумит ветер и над Христиановой гаванью, и над домом Кая Люкке, обращенным в тюрьму. Сам Кай Люкке лишен чести и изгнан из пределов страны, герб его сломан, а изображение его повешено на высокой виселице. Так наказан он за свой непочтительный отзыв о чтимой страной королеве. Ветер воет в вышине и проносится над открытой площадью, где стоял дом бывшего государственного канцлера Ульфельда. Теперь от него остался лишь один камень. «Я пригнал его когда-то на льдине! – шумит ветер. – Камень сел на мель, ставшую впоследствии Воровским островом, проклятым мною. Потом камень попал во двор Ульфельда, где супруга его распевала и играла на лютне, читала по-гречески да по-латыни и гордо задираала голову! Теперь тут задирает голову один камень с надписью:

Изменнику Корфицу Ульфельду

На вечный позор, поношение и посмеяние!

Но где же сама высокорожденная госпожа? «У-у-у!» – гудит ветер.

Она в Синей башне, что позади дворца; волны морские лижут осклизлые стены башни, и в ней уже много лет томится Элеонора-Христина. Печь в ее камерке дает больше дыма, нежели тепла; маленькое окошечко высоко, под самым потолком!

Вот как плохо обставлена теперь любимица Христиана IV, изнеженная девушка и гордая супруга! Воспоминание убирает ее закоптелые стены занавесями и коврами, уносит ее в золотую пору детства. Она видит перед собою ласковые черты отца, вспоминает блестящий свадебный пир, дни своего величия и дни печали в Голландии, в Англии и на острове Борнгольме.

Ничто не тяжело для любящей супруги!

Поддержкой служит совесть ей и долг.

Да, тогда ей ничто не казалось тяжелым – тогда с нею был он, теперь же она одна, навеки одна! Она даже не знает, где его могила, да и никто этого не знает.

Ее же вся вина была в любви к супругу!

И за эту вину ей пришлось сидеть в заточении годы, многие, долгие годы, в то время как за стенами тюрьмы кипела жизнь. Жизнь никогда не останавливается, но мы-то остановимся на этой картине и вспомним об Элеоноре-Христине словами песни:

Супругу данную она сдержала клятву  
Во всех превратностях судьбы!

– А вот эту картинку видишь? – спросил крестный. – Зима; мороз перебросил мост между Лоландом и Фионией, мост для короля шведского Карла Густава, и он стремится по нему, не останавливаясь. В стране грабеж, убийства, ужас и бедствия. Шведы обложили Копенгаген. Мороз так и щиплет, метель, вьюга. Но народ верен своему королю, верен самому себе, и мужчины и женщины храбро выходят на битву. Мастеровые, лавочники, приказчики, студенты и магистры – все на валу, все готовы защищать родной город. Никто не боится каленых шведских ядер. Король Фредерик клянется умереть в родном гнезде. Вот он объезжает валы; с ним и королева. В рядах защитников – полный порядок: их воодушевляет мужество, любовь к родине. Пусть себе шведы облакаются в саваны, чтобы незаметно подобраться по белому снегу к городу и взять его приступом! На головы им летят бревна, камни, а женщины льют на них из котлов кипящую смолу и деготь.

В эту ночь король и горожане образовали единую несокрушимую силу, и – победа за ними! Колокола звонят, раздаются благодарственные гимны. Граждане копенгагенские, вы заслужили себе в эту войну рыцарские шпоры!

– А теперь что? Взгляни на картинку!

Супруга епископа Сване едет в закрытой колымаге; но так могут разъезжать лишь особы из высшего дворянства, и гордые

дворянчики ломают колымагу. Жена епископа принуждена вернуться домой пешком.

И все? Нет, скоро сломят кое-что поважнее – дворянское высокомерие!

Бургомистр Ганс Нансен и епископ Сване, призывая имя Господне, протянули друг другу руки во имя общего дела. Умные и честные речи их раздаются в церквях и в домах горожан. И вот все подготовлено: гавань заперта, городские ворота тоже, бьют в набат. Власть во всей ее полноте передается королю, тому, кто не покинул своего гнезда в час опасности! Да властвует он один, нераздельно, над всеми – и большими, и малыми! Наступает эпоха самодержавия.

– Перевернем страницу.

Галло! Галлой! Галло! Плуг в сторону, пусть поля зарастают вереском – для охоты лучше. Галло! Галлой! Чу! Раздаются звуки рогов, лай собак. Вон мчатся охотники, между ними сам король Христиан V. Как он молод, весел! Во дворце и в городе царит веселье. Покои освещены восковыми свечами, двор – факелами, а городские улицы – фонарями. Все блестит новизной! Пошло в ход все новое: новое дворянство, вызванное из Германии, новые титулы – графы да бароны – и немецкий язык.

И вдруг раздался чисто датский голос. Это голос епископа Кинго, сына ткача; он поет свои дивные псалмы.

А вот и еще сын простого горожанина, виноторговца, Гриффенфельд; мысли его засияли в законе; составленный им свод законов стал вечным золотым фоном для имени его государя! Сын горожанина становится первым человеком в стране, возводится в дворянство и... приобретает врагов. И вот палач заносит меч над головой Гриффенфельда. Тогда раздается голос помилования, и казнь заменяется пожизненным заточением. Канцлера ссылают на скалистый остров Мункгольм близ Троньема. «О, Мункгольм – Санкт-Елена Дании!»

А во дворце по-прежнему идут танцы, все блещет роскошью, играет музыка, носятся в танцах благородные кавалеры и дамы.

– Вот правление Фредерика IV.

Взгляни на гордые корабли с развевающимися флагами! Взгляни на взволнованное море! Оно может поведать тебе о великих подвигах, о славе Дании. Мы помним славные имена Сегестеда и Гюльденлеве! Помним и Витфельда, взорвавшего, ради спасения датского флота, себя и свой корабль с Данеброгом на воздух. Мы помним морские сражения и героя, бросившегося на защиту Дании с норвежских скал, – Петра Торденскиольда. Имя его гремит над бурным морем от берега до берега.

Блеснула молния сквозь тучи пыли,  
Вдымавшейся с напудренных голов,  
Раскаты грома слабых оглушили.  
Портнишка кинул свой убогий кров,  
Иглу, верстак и в море смело прынул.  
В нем викингов воскрес могучий дух,  
И на врагов, как Божий гром, он грянул!<sup>[10]</sup>

А с берегов Гренландии струится благоухание, как из страны Вифлеемской; там распространяется свет евангельской истины миссионером Гансом Эгедом и его супругой.

Вот почему половина этой страницы золотая. Другая же половина ее траурная, пепельная с черными крапинками, словно прожжена искрами. Эта означает скорбь.

В Копенгагене чума. Улицы пусты, двери домов заколочены; почти на всех белые кресты – значит, там есть чумные больные; черный же крест означает, что все в доме вымерли.

Без колокольного звона, ночью, выносят тела умерших. Вместе с трупами подбирают с улиц и полумертвых. С грохотом разъезжают тяжелые телеги, битком набитые трупами. А из постоянных дворов несутся пьяные песни и дикие крики. Люди хотят забыться, в забытьи встретить свой конец. Всеу на свете есть конец – конец и этой странице, но на ней изображено еще другое тяжкое испытание Копенгагена – пожар.

Король Фредерик IV еще царствует; волосы его поседелы с годами. Он смотрит из окна дворца; на дворе бушует ветер; стоит поздняя осень.

В маленьком домике около западных ворот играет мячиком

мальчуган. Мячик застрял на чердаке. Мальчуган берет зажженную сальную свечку и отправляется на чердак искать свой мячик. В домике вспыхивает пожар, горит и вся улица. Зарево разливается по небу. Пламя все растет! Пищи для огня довольно: сено, солома, сало, деготь, поленицы дров, заготовленных на зиму. Все объято пламенем. Плач, стоны, смятение. Старый король объезжает город, утешает, успокаивает, отдает приказания. Взрывают целые кварталы, чтобы остановить шествие пламени. Но вот загорается северная часть города, горят церкви: Св. Петра, Богоматери! Орган играет в последний раз: «Смилуйся над нами, Боже!»

Уцелели только Круглая башня да дворец; кругом же одни дымящиеся развалины. Но король Фредерик IV добр к народу и не оставляет его в беде: он утешает и кормит бедняков, он – друг бездомных!

Да будет благословен Фредерик IV!

– Взгляни теперь на эту страничку!

Взгляни на золоченую колесницу, окруженную слугами; впереди и сзади конвой вооруженных всадников. Она выезжает из дворцовых ворот. Вокруг дворца протянута железная цепь, чтобы народ не подходил к дворцу слишком близко. Люди недворянского происхождения обязаны переходить дворцовую площадь с непокрытыми головами. Поэтому на ней редко увидишь кого-нибудь: все избегают это место. Но вот проходит один, потупив взор и держа шляпу в руке. Это как раз тот, чье имя мы провозгласим громко: Людвиг Гольберг.

В нем гений спорит с остроумием, но датский театр, дворец его славы, закрыт теперь, словно приют соблазна.

Всякое веселье, радость похоронены; танцы, пение, музыка строго воспрещены. Это время господства мрачного ханжества<sup>[11]</sup>.

Но вот в управление страной вступил «датский принц», как звала его в детстве мать. Опять проглянуло солнышко, запели птички! На престоле Фредерик V! Цепи с дворцовой площади убираются прочь, датский театр снова открывает двери смеху, веселью и здоровому юмору. Крестьяне вновь встречают лето веселыми

играми. Унылый пост сменился веселым розговением. Искусство цветет и приносит плоды – звуки и краски. Послушай музыку Гретри, взгляни на игру Лондемана! И королева Дании любит все датское. Да благословит тебя Бог, прелестная, кроткая Луиза Английская! Дети солнца воспевают хором датских королев: Филиппу, Елизавету, Луизу!

Бранные останки людей покоятся в склепах, но души живут вечно, живут и имена. Снова шлет Англия невесту королю – юную принцессу Матильду, скоро покинутую всеми! Но ее воспоют впоследствии поэты! Воспоют ее юное сердце и горькие испытания. А песня могуча: сменяются времена, народы, она же все остается властной. Взгляни на пожар Христианборгского дворца! Стараятся спасти что получше. Вот рабочие с верфи тащат корзину с серебром и дорогими вещами – целое богатство. Но вдруг они видят в открытую дверь, где уже пышет пламя, бронзовый бюст короля Христиана IV, и – сокровище в сторону! Этот бюст для них дороже всех сокровищ! Его надо спасти во что бы то ни стало. А знают эти люди Христиана IV только по песне Эвальда да по чудной мелодии Гартмана!

Да, в слове и в песне удивительная сила, и когда-нибудь да оживет в звучной песне и бедная королева Матильда!

– Перевернем еще страницу.

На площади Ульфельда стоял позорный камень; где еще в свете возвышался подобный? У западных ворот воздвигли колонну; много ли в свете таких?

Солнечные лучи целовали каменные глыбы, послужившие основанием Колонне Свободы. Колокольный звон, всюду флаги, народ ликует и славит кронпринца Фредерика<sup>[12]</sup>. У старого и у малого в сердцах и на языке имена Бернсторфа, Ревентлова, Кольбьернсена<sup>[13]</sup>. Сияющие взоры, благодарные сердца останавливаются на благословенной надписи на колонне:

«Король повелел разбить оковы крестьянина; издал новый закон об отношениях между помещиком и свободным крестьянином, дабы последний мог стать на ноги, сделаться просвещенным, трудолюбивым, добрым, честным и счастливым гражданином!»

Какой счастливый день! Какое лето в городе!

Дети солнца поют: «Добро растет! Красота растет! Скоро уберут позорный камень с площади Ульфельда, а Колонна Свободы все будет стоять, вечно озаряемая солнцем, благословляемая Богом, королем и народом!»

Дорога широкая к нам пролегает  
И света конца достигает.

Дорога эта – открытое море. Она открыта и для друга, и для недруга. Недруг и явился. Подплывает могучий английский флот. Великая держава надвигается на маленькое государство. Жаркое вспыхнуло сражение, но датчане дрались мужественно, возбуждая удивление врагов и вдохновляя скальдов. Этот день вспоминается и поныне: Дания до сих пор чтит день славной битвы на рейде – 2 апреля.

Прошли годы. На Зунде опять показывается английский флот. Идет ли он на Россию или на Данию? Никто не знает этого, не знает никто даже на самых кораблях.

Сохранилось предание, что в то утро, когда на главном корабле был вскрыт секретный пакет, содержащий приказ напасть врасплох на Копенгаген и уничтожить весь датский флот, один молодой капитан, сын Альбиона, обратился к своему начальнику с достопамятными словами: «Я клялся до последнего вздоха бороться за честь и знамя Англии, но лишь в честном бою, а не предательски!»

И сказав это, он бросился за борт!

Враг подошел к Копенгагену; ярким заревом загорелось небо, и мы лишились нашего флота, но не мужества и веры в Бога. Он смиряет, он же и возносит! Раны заживают, как раны Эйнгериев<sup>[14]</sup>. История Копенгагена богата утешительными примерами.

Скоро снова заблестело солнце в восставшем из пепла городе, на богатых жатвою полях и на творениях ума человеческого. Настал благодатный летний день мира, когда поэзия возродилась в чудных, ярких образах Эленшлегера!

И в области науки сделана находка, куда драгоценнее, нежели древний золотой рог: найден золотой «мост мысли». Ганс Христиан Эрстед начертил на нем свое имя.

А вот взгляни сюда! Близ дворца и собора воздвигается здание, на постройку которого жертвуют свою лепту даже бедняки.

Ты помнишь старые каменные глыбы, изображенные в начале альбома? Их пригнал из Норвегии на льдинах северо-восточный ветер. Теперь они поднялись с песчаного дна по повелению Торвальдсена. Они служат фундаментом здания, в котором красуются мраморные изваяния великого мастера.

Вспомни, что я показывал и рассказывал тебе! Песчаная мель поднялась с морского дна, стала защитой для гавани, на ней воздвигся Акселев дом, дворец епископа, потом дворец короля, а ныне на нем воздвигся и храм красоты. Проклятие ветра развеяно по воздуху, а радостное пророчество детей солнца сбылось.

Много бурь пронеслось над Копенгагеном, пронесется, может быть, и еще. Но победа все же останется за добром, истиной и красотой.

Альбому тут конец, но история Копенгагена далеко не кончена. Кто знает, до чего доживешь со временем ты сам?

Часто над городом скоплялись черные тучи, бушевала буря, но свет солнца затмевался лишь на время. Бог же еще сильнее солнышка! Господь правит кое-чем и побольше Копенгагена!

Вот что сказал крестный, вручая мне альбом. Глаза его сияли, он был так уверен в том, что говорил. А я взял книгу с такой же радостью, гордостью и осторожностью, с какими взял впервые на руки свою новорожденную сестрицу.

Крестный же прибавил:

– Ты можешь показывать свой альбом кому хочешь, можешь даже сказать, что я сам сделал, вырезал и нарисовал все. Но пусть также знают все, кто подал мне мысль. Ты знаешь это и расскажи! Мысль принадлежит старым ворванным фонарям. Они вздумали в последний вечер своей службы показать новым газовым фонарям, как в туманных картинах, все, что пережил Копенгаген с того вечера, когда в нем зажегся первый ворванный фонарь, и до того, когда в нем вспыхнули бок о бок ворванные и газовые фонари.

Можешь показывать книгу всем, кому хочешь, т. е. всем ласковым и доброжелательным людям; если же явится «мертвая лошадь» – сейчас закрой *альбом крестного!*

---

[1]«Kjobenhavns Flyvende Post» – весьма влиятельный в свое время литературный орган, основанный И. А. Гейбергом в 1827 г.

[2]Датское имя епископа Абсалона.

[3]«Аттердаг» означает, собственно, «снова день».

[4]Флюгер с Вальдемаровой башни (близ города Вординборга) – золотой гусь – был, по преданию, украден ганзейцами, видевшими в нем насмешку над ними: «Gans – Hanse».

[5]Из стихотворения Ф. Паллюдана Мюллера.

[6]Один из приверженцев Христиерна II.

[7]Дидрих Слагхёх, иноземец, врач и доктор канонического права, сумевший сделаться любимцем Христиана II и участвовавший во всех жестокостях последнего. После низвержения Христиана II казнен в 1522 г.

[8]Из стихотворения И. Л. Гейберга.

[9]Известный государственный деятель, министр финансов в царствование Христиана III; был изгнан и вернулся на родину лишь в царствование Фредерика II.

[10]Стихотв. Карла Плоуга.

[11]Царствование короля Христиана VI (1730–1746).

[12]Впоследствии король Фредерик VI.

[13]Выдающиеся государственные деятели Дании.

[14]Любимые сыны Одина, развлекающиеся в Валгалле единоборствами, в которых ранят и даже убивают друг друга, но потом опять воскресают.

(Голосов: 1. Рейтинг: 1,00 из 5)

Загрузка...

---

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Пейтер, Пётр и Пейр

Ужасно много знают нынешние дети! И не придумаешь, кажется, чего бы они не знали. Рассказ о том, что аист принёс их мамаше с мамашей из пруда или из колодца, считается теперь такую старую историю, что они ей и верить не хотят больше. А, ведь, нет ничего достовернее её!

Но как же попадают малютки в пруд или колодезь? Да, это знает не всякий, но кое-кто всё-таки знает. Вы вглядывались когда-нибудь, как следует, в небо ясною, звёздною ночью? Видели падающие звёздочки? Блестящая звёздочка вдруг скатывается с неба и исчезает! Первые учёные в свете и те не в состоянии объяснить, чего сами не знают, но если знаешь, в чём тут дело – объяснить не трудно. С неба как будто падает и гаснет ёлочная свечка; но это не свечка, а душевная искорка, посылаемая Господом Богом на землю. Попав в густую, тяжёлую земную атмосферу, она вспыхивает последним блеском и делается уже невидимую для нашего глаза, – она, ведь, куда тоньше, эфирнее нашего воздуха. Это дитя неба, ангелочек, только без крылышек: он должен стать человеком. Тихо скользит он по воздуху, ветерок подхватывает его и переносит на цветок – в чашечку ночной фиалки, одуванчика, розы, или гвоздики; там дитя приходит в себя. Легко и воздушно крошечное существо, муха могла бы унести его, а пчела и подавно. И те, и другие и являются пить из цветка сладкий сок; если дитя мешает им, они не выбрасывают его, – им жалко малютку – а выносят его на солнышко и кладут на широкий лист кувшинки. Дитя начинает ползать по листу, сваливается в воду, спит и растёт там, пока аист не увидит его и не отнесёт в семью, которой хотелось иметь такого миленького крошку. Мил он бывает или не мил – зависит, впрочем, от того, что пил малютка: чистую ли влагу источника, или наглотался тины и грязи; тина и грязь делает из

малютки такое земное, низменное существо! Аист же не выбирает, а берёт первого попавшегося малютку. И вот, один попадает в хорошую семью, к прекрасным родителям, другой к таким грубым, суровым людям, в такую безысходную нужду, что лучше бы ему оставаться в пруду.

Малютки совсем не помнят, что снилось им в тени листка кувшинки, под песни лягушек, баюкавших их своим кваканьем: «Ква-ква-ква!» На нашем языке это значит: «Ну, смотрите же, спите хорошенько!»

Не помнят они и того, в каком цветке лежали, или какой у него был запах, но у них остаётся какое-то смутное влечение к тому или к другому цветку, и, выросши, они говорят: «Вот это мой любимый цветок!» Это-то и есть тот самый, в котором они лежали воздушными созданиями.

Аист доживает до глубокой старости, но не перестаёт следить за тем, как живётся малюткам, которых он принёс, и как они сами ведут себя на свете. Конечно, он не может ничего сделать для них, не может изменить условий их жизни, – ему вряд управиться с заботами о своей семье – но всё же никогда не забывает о них.

Я знаю одного старого, весьма почтенного и сведущего аиста, который доставил людям множество малюток и знает историю каждого, а эти истории иногда ух как отзываются тиной и грязью! Я упросил его как-то рассказать мне вкратце биографию хоть одного малютки, а он ответил, что я сейчас услышу биографии целых трёх. Дело пойдёт о семье Пейтерсен.

Это была очень милая семья; муж состоял в числе тридцати двух «отцов города», а это уж было отличием. Он весь отдавался делу этих тридцати двух и от роду ему было тридцать два. В эту-то пору аист и принёс к нему в дом малютку Пейтера. На другой год аист принёс другого, которого называли Петром, и на третий год – третьего; этот получил имя Пейр: все эти имена, ведь, так подходят к фамилии Пейтерсен!

Итак, это были три родных братца, три упавшие звёздочки, лежавшие каждая в своём цветке, а потом попавшие в пруд под листок кувшинки. Оттуда же их вынул аист и принёс в семью Пейтерсен, что живёт в угловом доме, как вам известно.

Мальчики подрастали, развивались и физически, и умственно, и вот, у них уже возникли желания быть кое-чем побольше, нежели их отец – один из «тридцати двух».

Пейтер говорил, что хочет быть разбойником. Он видел в театре «Фра-Дьяволо» и решил, что лучше ремесла разбойника и быть не может.

Пётр хотел быть «мусорщиком», что разъезжает с мусорным ящиком и трещоткой<sup>[1]</sup>, а Пейр, мальчик милый, послушный, толстенный, сдобный, страдавший лишь одним недостатком – привычкой обкусывать свои ногти – хотел быть «папашей». Так каждый и объявлял, когда их спрашивали, чем они хотят быть.

Вот они начали ходить в школу. Один стал первым учеником, другой последним и третий средним, но это не мешало им быть одинаково добрыми и умными – по словам их весьма опытных родителей.

Они посещали детские балы, курили тайком сигары и преуспевали в познаниях и науках.

Пейтер с ранних лет был упрям, как и подобает разбойнику. Он был очень непослушный мальчик, но это всё оттого, – говорила мамаша – что он страдал глистами; непослушные дети всегда страдают глистами – от тины в желудке. Его строптивость и настойчивость отозвались раз на новом шёлковом платье мамаша.

– Не толкай стола, мой ягнёночек! – сказала она. – Ты опрокинешь сливочник и забрызгаешь моё новое шёлковое платье.

И «ягнёночек» твёрдою рукою взял сливочник и вылил сливки прямо на колени мамаше, а та только ахнула: «Ах, как нехорошо, ягнёночек!» Нельзя было, однако, не сознаться, что у ребёнка твёрдая воля, твёрдая же воля показывает и твёрдость характера, – как тут не радоваться мамаше.

Из него и мог бы выйти заправский разбойник, но всё-таки не вышел. Он только наружностью напоминал разбойника: ходил в мягкой широкополой шляпе, с голою шеей, носил длинные волосы. Ему хотелось быть художником, но пока удалось лишь усвоить себе одежду и манеры художников. Вдобавок ко всему этому не только он сам сильно напоминал собою шток-розу, но и все люди, которых он рисовал, смотрели шток-розами, – такие же длинные,

худые! Пейтер очень любил этот цветок; он, ведь, и лежал когда-то в шток-розе, – объяснил аист.

Пётр лежал в подсолнечнике. И улыбка у него была такая масляная, а цвет лица такой жёлтый, что право, кажется, поскобли его по щеке – из неё закапало бы подсолнечное масло! Ему как будто на роду было написано торговать маслом, – даже вывеска была налицо – но в душе он был и остался «мусорщиком с трещоткою». Он один из всех (и «за всех», – говорили соседи) членов семьи обладал музыкальным талантом. В одну неделю он сочинил семнадцать новых полек, а затем составил из них оперу; в оркестре принимали участие и дудка, и трещотка. Фу, ты, как вышло хорошо!

Пейр был мальчик белый, розовый, маленький и заурядный; он лежал в ромашке. Его частенько колотили, но он никогда не давал сдачи, говоря, что он умнее всех, а умные всегда уступают! Сначала он занимался собиранием грифелей, потом печатей, а потом завёл себе маленькую зоологическую коллекцию; в ней находился скелет колюшки, три слепых крысёнка в спирте и чучело крота. Пейр чувствовал влечение к науке и к изучению природы, что было очень приятно и родителям и ему самому. Он, впрочем, охотнее ходил в лес, чем в школу, охотнее следовал указаниям природы, нежели воспитания. Братья его давно уже обзавелись невестами, а он всё ещё хлопотал над пополнением своей коллекции яиц водяных птиц. Скоро он приобрёл куда более обстоятельные сведения о животных, нежели о людях, и даже полагал, что мы, люди, далеко уступаем животным в том, что сами же ставим выше всего – в любви. Он видел, например, что самка соловья сидит на яйцах, а самец всю ночь развлекает её своим пением: «Клюк-клюк-клюк! Ци-ци! Лю-ли-лю-ли!» Этого Пейр никогда бы не мог взять на себя! Аист же, когда самка его сидит с птенцами в гнезде, всю ночь стоит на коньке крыши на карауле, да ещё на одной ноге! Пейру не простоять бы так и одного часа. Когда же Пейр рассмотрел однажды тенета паука, то окончательно махнул рукою на брак. Господин паук всю жизнь ткал свои тенета, чтобы ловить легкомысленных мух – и молодых, и старых, и полнокровных, и тощих – и высасывать из них кровь, словом, жил исключительно для того, чтобы ткать и кормить свою

семью. Госпожа же паучиха жила исключительно своим супругом, и вот, взяла да и съела его от пущей любви! Съела его сердце, голову, желудок, оставила в тенетах, где он сидел, промышляя для своей семьи, одни его тонкие, длинные ножки. Вот истинная правда, прямо из естественной истории! Пейр увидал это и рассудил: «Вызвать к себе со стороны жены такую необузданную любовь, что она пожрёт тебя?! Нет, до этого не решится дойти ни один человек, да и желательно ли это?»

И Пейр решился остаться холостяком, решился никогда не целоваться и не позволять целовать себя, чтобы не навлечь подозрения в желании вступить в брак. Но поцелуя-то он всё-таки не избегнул, сочного поцелуя смерти! От него не отвертеться никому. Прожил человек свой век, и смерть получает приказ зацеловать его до смерти. Ну, тут и конец человеку! Его поражает солнечный луч свыше, и в глазах у него темнеет. Человеческая душа, упавшая на землю звёздочкою, снова возносится на небо звёздочкою, но уже не для того, чтобы отдыхать в цветке или спать под листом кувшинки. Теперь ей предстоит нечто более важное – вознестись в великую страну вечности. Каково же там – никто сказать не может. Никто не заглядывал туда, даже аист, как он ни дальнорок, как ни сведущ. Он и не знал ничего больше о Пейре, о Пейтере же и Петре мог бы порассказать ещё многое, но о них я уже наслушался довольно, да и вы, вероятно, тоже. Поэтому я поблагодарил аиста за его любезность. Но, что ж вы думаете? Он потребовал с меня за этот простой рассказец три лягушки и змеёныша, – он берёт плату натурою! Хотите вы заплатить? Я не хочу! У меня нет ни лягушек, ни змеёнышей.

---

<sup>[1]</sup> Копенгагенские мусорщики, разъезжая по улицам, дают о себе знать громкою трескотнёю на особой деревянной трещотке.

(Голосов: **1**. Рейтинг: **1,00** из 5)

Загрузка...

---

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Домовой и хозяйка



Ты знаешь домового, а хозяйку знаешь? Жену садовника? Она была начитана, знала наизусть много стихов и даже бойко сочиняла их сама. Вот только рифмы, «спайки» – как она их называла – давались ей не без труда. Да, у неё был и писательский талант и ораторский; она могла бы быть хоть пастором, по крайней мере – пасторшею!

– Как хороша земля в воскресном уборе! – сказала она и поспешила облечь эту мысль в стихи со «спайками», очень красивые и длинные.

Семинарист, господин Киссеруп, – имя тут, впрочем, ни при чём – сын сестры садовника, гостивший у них, услышал стихи хозяйки и заявил, что они очень, очень хороши!

– Да, на вас лежит печать гения, сударыня! – прибавил он.

– Экий вздор! – сказал садовник. – Не вбивайте ей ничего такого в голову! Женщина прежде всего должна обладать наружностью, приличною наружностью, и дело её – смотреть за тем, чтобы каша в горшке не прикипела, да не подгорела!

– Пригар я очищу древесным углём! – ответила жена: – А накипь на душе у тебя сниму поцелуем! Подумаешь, право, что у тебя на уме одна капуста, да картофель, а ты, ведь, любишь и цветы! –

И она поцеловала его. – Цветы, это и есть поэзия! – прибавила она.

– Смотри за кашей! – повторил он и ушёл в сад, – у него была своя каша, за которую следовало смотреть.

А семинарист остался сидеть с хозяйкой. Её слова: «Как хороша земля!» он развил в целую проповедь – в своём духе.

– Земля прекрасна; «наследуйте землю», было сказано людям, и они стали господами на земле. Один добился этого, благодаря своим духовным дарованиям, другой – физическим; один был пущен в свет вопросительно-восклицательным знаком, другой многоточием, так что невольно спрашиваешь: зачем он в сущности явился? Один становится епископом, другой остаётся бедным семинаристом, но всё на свете устроено одинаково премудро. Земля прекрасна и всегда в праздничном уборе! Это стихотворение пробуждает столько дум, сударыня! Оно полно чувства и знания географии.

– На вас тоже лежит печать гения! – заметила хозяйка. – Уверяю вас! Беседуя с вами, начинаешь ясно понимать себя!

И они продолжали беседу в том же прекрасном, возвышенном духе. А в кухне тоже кто-то вёл беседу – домовой! Домовой в сером балахоне и красненькой шапочке. Ты знаешь его! Он был в кухне, обзревая там горшки. Он тоже говорил, но его никто не слушал, кроме большого чёрного кота, «сливкокрада», как величала его хозяйка.

А на неё домовой был очень сердит, – он знал, что она не верит в его существование. Правда, она и не видала его никогда, но всё же была, кажется, достаточно просвещена, чтобы знать о его существовании и оказывать ему хоть некоторое внимание. Ей вот, небось, не приходило на ум угостить его в сочельник хоть ложкой каши! А её получали все его предки, даром что хозяйки их были совсем неучёные! И какую кашу! Она так и плавала в масле и в сливках!

У кота даже слюнки потекли при одном упоминании о ней.

– Она называет меня «понятием»! – говорил домовой. – Ну, это выше всех моих понятий. Она прямо таки отрицает моё существование. Я уж раз подслушал её речи и теперь опять хочу пойти подслушивать. Ишь, сидит и шушукается там с этим

«секутором», семинаристом! А я повторю за хозяином: «Смотри лучше за кашей!» Но она и не думает об этом. Постой же, я заставлю кашу кипеть через край! – И домовый раздул огонь. У! как зашипело, загорелось! Каша так и побежала из горшка. – А теперь пойду и понаделаю дыр в чулках хозяина! – продолжал он. – Больших дыр и в пятках, и в носках. Будет ей тогда чем заняться, если останется досуг от рифмоплётства! Штопай-ка лучше мужнины чулки, сударыня-поэтесса!

Кот в ответ на это чихнул; он простудился, хоть и ходил в шубе.

– Я открыл дверь в кладовую! – сказал домовый. – Там стоят кипячёные сливки, густые, что твой кисель! Хочешь вылакать? Не то я сам вылакаю!

– Нет, уж коли терпеть побои, так было бы за что! Я вылакаю! – ответил кот.

– Потешь язычок, а потом тебе почешут спинку! – сказал домовый. – Теперь я пойду в комнату семинариста, повешу его подтяжки на зеркало, а носки суну в умывальный таз с водою, – пусть думает, что пунш был чересчур крепок, и что у него в голове шумело. Сегодня ночью я сидел на дровах возле собачьей конуры. Мне ужасно нравится дразнить цепную собаку, я и давай болтать ногами. Собака, как ни прыгала, не могла достать до них, злилась и лаяла. А я-то себе болтаю да болтаю ногами! Тот потеха была! Семинарист проснулся от шума, три раза вставал с постели и смотрел в окно, но меня-то уж ему не увидеть, даром что он в очках. Он и спит в них!

– Ты мякни, когда хозяйка придёт! – сказал кот. – А то я не услышу, – я сегодня болен.

– Язычком ты болен, вот что! Ну, лакай – выздоравливай скорее! Только оботри рыльце, а то сливки с усов каплют. Ну, а теперь я пойду подслушивать.

И домовый подкрался к двери, а дверь-то стояла полуотворённою. В комнате не было никого, кроме хозяйки и семинариста. Они говорили о том, что семинарист так прекрасно называл «печатью гения» и ставил выше всяких горшков и каш в любом хозяйстве.

– Господин Киссеруп! – начала хозяйка. – Я хочу воспользоваться случаем, показать вам что-то, чего ещё не

показывала ни единой живой душе, особенно мужчине, – мои маленькие стишки. Некоторые из них, впрочем, несколько длинноваты! Я назвала их «спайки дщери Дании»; я, знаете, люблю больше старинные слова.

– Так и подобает! – сказал семинарист. – Немецкие же слова следует совсем изгнать из языка.

– Вот, я так и делаю! Я никогда не говорю «Kleiner» или «Butterdeig», а всегда «лепёшки» и «сдобное тесто».

И она вынула из ящика стола тетрадь в светло-зелёной обложке, на которой красовались два клякса.

– В этой тетрадке очень много серьёзного! – сказала она. – Меня всё больше тянет к печальному. Вот «Ночные вздохи», «Моя вечерняя заря», вот «Наконец, я твоя, мой Клемен!» Это стихотворение посвящено моему мужу, но его можно пропустить, хотя оно и очень прочувствовано и продумано. Вот «Обязанности хозяйки» – это лучшая вещь! Но все стихи грустны, – в этом моя сила. Тут есть только одна вещь в шутовском духе. Я излила в ней свои весёлые мысли – находят на человека и такие – мысли о... Да вы не смейтесь надо мною! Мысли о положении поэтессы! До сих пор об этом знала только я, да мой ящик, а теперь узнаете вот вы. Я люблю поэзию, и на меня часто находит поэтическое настроение. В такие минуты я сама не своя. Всё это я и высказала в «Крошке Домовом!» Вы, ведь, знаете старинное народное поверье о домашнем духе, который вечно проказит в доме? И вот, я изобразила себя домом, а поэзию, волнующее меня поэтическое настроение – домовым. Я воспела могущество и величие «Крошки Домового!» Но вы должны дать мне слово никогда не проговориться об этом моему мужу или кому бы то ни было. Читайте вслух, – я хочу видеть, разбираете ли вы мой почерк!

И семинарист читал, а хозяйка слушала; слушал и домовый. Он, ведь, как ты знаешь, собирался подслушивать и подошёл как раз в ту минуту, когда прочли заглавие «Крошка-Домовой».

– Э, да дело-то идёт обо мне! – сказал он. – Что она могла написать обо мне? Постой же, дойму я тебя! Буду воровать у тебя яйца, цыплят, выгонять жир из телёнка! Вот что, сударыня-хозяйка! Скажите пожалуйста!

И он наострил уши. Но вот он слышит о величии и могуществе

домового, о его власти над хозяйкой, – она, ведь, подразумевала под домовым поэтическое настроение, но домовый понял всё это буквально – и лицо его стало расплываться в улыбку, глазки заблестели от удовольствия, губы сложились в важную мину; он даже невольно привстал на цыпочки и вырос на целый вершок! Ах, он был в таком восторге от всего сказанного о «Крошке Домовом»!

– А в хозяйке-то и впрямь сидит гений! И как она образована! Я был ужасно несправедлив к ней! Она поместила меня в свои «спайки»; их напечатают и прочтут!.. Ну, уж полно теперь коту лакать хозяйкины сливки, – я сам буду лакать их! Один всё же выпьет меньше, чем двое, вот и экономия! Я и буду теперь соблюдать её, буду почитать и уважать хозяйку!

«Сколько, однако, в нём человеческого!» подумал старый кот. «Стоило хозяйке польстивее мяукнуть ему, и он сейчас запел на иной лад! Хитра она, хозяйка-то!»

Но она вовсе не была хитра; хитёр-то был домовый, – в нём было много человеческого!

Если ты не понимаешь этой истории, то попроси объяснения – только не у домового, да и не у хозяйки.

(Голосов: 1. Рейтинг: 1,00 из 5)

Загрузка...

---

**Сказки Ханса Кристиана  
Андерсена. Зелёные крошки**



На окне стоял розан; недавно ещё он был так свеж, а теперь что-то начал чахнуть, хиреть.

У него завелись постояльцы, которые стали пожирать его, постояльцы, впрочем, очень почтенные, носившие зелёный мундир. Я имел разговор с одним из них; ему было всего три дня от роду, а он уже имел правнуков. И знаете, что он сказал мне? Он говорил о самом себе и о прочих постояльцах и говорил одну правду.

«Мы замечательнейшее войско в свете. В тёплое время года мы производим живых малюток; погода в это время хороша, и они сейчас же сватаются и играют свадьбы. В холодное же время года мы кладём яички, – малюткам тепло в них. Мудрейшие создания, муравьи – мы питаем к ним глубочайшее уважение – изучают нас, ценят нас. Они не пожирают нас тотчас же, а берут наши яички, уносят их в свою семейную кучу, в самый нижний этаж, и укладывают там очень толково по номерам, рядышком, слоями, так, чтобы каждый день иметь новорожденного малютку. Потом муравьи ставят нас в хлев и щекочут, т. е. доят. После того мы уж умираем. То-то хорошо! Муравьи называют нас прелестнейшим именем, «сладкими дойными коровками»! Все животные, одарённые муравьиным разумом, зовут нас так, все, кроме людей! И это такая обида для нас. Просто впору лишиться всей своей сладости! Не можете ли вы написать что-нибудь против этого, не можете ли как-нибудь усювестить этих людей! Они смотрят на нас так глупо, злятся, что мы поедаем листья розана, а сами

пожирают на земле всё живое, всё, что только растёт и зеленеет! Они дают нам самое презренное, самое отвратительнейшее имя! Я не произнесу его! У! Как подумаю только, у меня внутри всё переворачивается! Я не могу выговорить его, по крайней мере – в мундире, а я всегда в мундире.

Я родился на листке розана; я и весь наш полк живём им, но он в свою очередь оживает в нас, а мы, ведь, принадлежим к высшему разряду творений. Люди нас не терпят, приходят и смывают нас мыльной водой. Прескверный напиток! Право, мне всё кажется – где-то пахнет им?! И каково перенести такое мытьё, если природа твоя совсем не терпит мытья!

Человек! Ты смотришь на меня такими сердитыми мыльными глазами, но вспомни наше место в природе, наше искусное устройство: мы кладём яйца и производим живых малюток! Вспомни, что и нам дан завет «плодиться и размножаться»! Мы родимся на розах и умираем на розах; вся наша жизнь – чистейшая поэзия. Не клейми же нас позорным, гнусным именем, которого я не произнесу ни за что! Зови нас «дойными коровками муравьёв», «гвардией розана», «зелёными крошками»!»

А я, «человек», стоял и смотрел на розан и на «зелёных крошек», которых не назову по имени, чтобы не оскорбить граждан розана, большое семейство, кладущее яйца и производящее живых малюток. Мыльную же воду, которою я хотел смыть их – я явился именно с этим злым намерением – я решил вспенить: буду пускать мыльные пузыри и любоваться роскошью их красок! Как знать, может быть, в каждом пузыре сидит сказка?

И вот, я выдул пузырь, большой, блестящий, отливающий всеми цветами радуги; на дне его как будто лежала белая серебристая жемчужина. Пузырь колебался несколько мгновений на конце трубочки, потом вспорхнул, полетел к двери и – лопнул. В ту же минуту дверь распахнулась, и на пороге показалась сама бабушка-сказка!

Ну, она лучше меня расскажет вам сказку о – нет я не назову их – о зелёных крошках!

О «травяных вшах»! – сказала бабушка-сказка. – Каждую вещь следует называть настоящим именем, и если уж бояться это делать

в действительной жизни, то пусть не боятся хоть в сказке!

(Голосов: 1. Рейтинг: 1,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Вэн и Глэн

Близ Зеландского берега, напротив Гольстейнского замка, лежали когда-то два лесистых островка: Вэн и Глэн с сёлами и посёлками. Они и от твёрдого берега лежали недалеко, и друг от друга тоже.

Но вот один островок исчез. Ночью разразилась страшная буря, море поднялось так высоко, как и не запомнили старики; буря свирепела всё больше и больше. Казалось, наступало светопредставление, разверзалась земля; колокола на колокольнях раскачивались и звонили сами собою.

В эту-то ночь остров Вэн и исчез в морской глубине, и следа от него не осталось. Но часто потом в летние тихие ночи, когда море ясно и прозрачно, рыбаки, выслеживавшие угрей при свете укреплённого на носу лодки фонаря, видели (особенно более зоркие) в прозрачной глубине остров Вэн, белую колокольню его церкви и высокие церковные стены.

И вот, у жителей другого островка сложилось поверье, что «Вэн дожидается Глена!» Рыбаки рассказывали, что видели исчезнувший остров, слышали даже звон его колоколов; но это им только чудилось. Это, верно, пели дикие лебеди, которые часто нежатся тут на водяной поверхности, их жалобное пение напоминает собой отдалённый колокольный звон.

Было время, когда многие старики из жителей Глена хорошо помнили ту бурную ночь, помнили ещё и то время, когда они детьми переезжали во время отлива узенький пролив, отделявший

их остров от Вэна, как теперь переезжают пролив, отделяющий Зеландию от Глэна; вода, ведь, достигает только оси телеги.

«Вэн дожидается Глэна» – сложилось поверье, и все знали, что придёт время, когда оно оправдается.

Немудрено, что многие мальчики и девочки часто думали в бурные ночи: «А вдруг сегодня ночью Вэн придёт за Глэном!» В страхе принимались они читать: «Отче наш», потом сладко засыпали, а на утро – Глэн со своими лесами, хлебными полями, приветливыми крестьянскими домиками, увитыми хмелем, оказывался на своём месте. В лесу распевали птички, резвились лани, и крот, как ни остро у него обоняние, не чуял ещё запаха морской воды.

И всё-таки дни острова сочтены; мы не можем сказать наверное, сколько именно времени осталось ещё существовать ему, но тем не менее, дни его сочтены; в одно прекрасное утро остров исчезнет.

Может быть, ты ещё вчера только был на берегу и любовался на диких лебедей, нежившихся на воде между Зеландией и Глэном, смотрел, как скользила около лесистого берега лодка с распущенными парусами, сам переезжал на остров вброд, – другой дороги ведь не было – и лошади шлёпали прямо по воде, которая плескалась о колёса.

Но вот ты уезжаешь оттуда, путешествуешь, быть может, по белу свету и возвращаешься на родину лишь через несколько лет. Глядишь – перед тобой огромный зелёный луг, окружённый лесом; перед нарядными крестьянскими домиками благоухают стога сена. Куда же ты попал? Гольштейнский замок по-прежнему блещет своими золочёными шпицами, но он уже не на самом берегу, а далеко от него! Ты идёшь по лесу, по полю, на берег моря... Где же Глэн? Перед тобой нет никакого острова, одно открытое море! Неужели Вэн пришёл за Глэном, как говорило поверье? Когда же разыгралась эта ночная буря, когда случилось такое землетрясение, что древний Гольштейнский замок передвинуло на много тысяч петушиных шагов вглубь страны?

Такой бурной ночи и не было; случилось всё при свете солнца, днём. Человеческий ум устроил плотины, выкачал воду из пролива и соединил Глэн с твёрдой почвой. Пролив стал зелёным лугом, покрытым сочной травой, Глэн крепко прирос к Зеландии. Старый

замок стоит на прежнем месте. Это не Вэн пришёл за Глэном, а Зеландия притянула его к себе своими руками-плотинами, выкачала воду, разлучавшую её с островом, и произнесла заклинание, соединившее их брачными узами. И остров принёс с собою приданое, – Зеландия обогатилась многими десятинами земли! Всё это правда, об этом даже опубликовано в газетах. Так вот, поверье-то и оправдалось – остров Глэн исчез.

(Голосов: 1. Рейтинг: 1,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Жаба

Колодезь был глубокий, поэтому и верёвка была длинная; она медленно навёртывалась на ворот, когда вытаскивали полное ведро. Как ни прозрачна была вода в колодце, в ней никогда не играли солнечные лучи, – они не достигали до её поверхности. По стенкам же колодца и между камнями, куда они проникали, росла зелень.

Здесь ютилась целая семья жаб; она была не туземного происхождения, а, так сказать, слетела сюда кувыркком в лице старой жабы, которая была ещё жива и посеёчас. Давнишние обитательницы колодца, зелёные лягушки, плававшие в воде, признали жаб родственницами и обошлись с ними, как с гостями, прибывшими на воды. А гости-то взяли, да и поселились здесь совсем: жилось им тут очень вольготно, они чувствовали под собою твёрдую почву!

Старой бабушке-лягушке довелось раз совершить путешествие в ведре; она поднялась в нём наверх, но там ей показалось чересчур светло, у неё даже в глазах зарябило! К счастью, ей удалось выпрыгнуть из ведра. Шлёпс! Она так бухнулась в воду,

что три дня спины у себя не чувствовала. Многого о белом свете она рассказать не могла, но знала, да это и все знали, что колодезь – ещё не весь свет. Вот старая жаба, та бы могла порассказать о нём кое-что побольше, но она никогда не отвечала на вопросы, ну, её и не спрашивали.

– Безобразная, жирная толстуха! – говорили про неё зелёные лягушки. – И детки её все в неё будут!

– Может статья! – отвечала жаба. – Но у одной из них, или у меня самой, сидит в голове драгоценный камень!

Зелёные лягушки слушали её, вытаращив глаза, но слова её им не понравились – они передразнили её и шлёпнулись на дно. Зато молодые жабы даже задние ножки вытянули от пущей важности. Каждая мнила себя обладательницей драгоценного камня и сидела возле старой жабы смиренно-смирно, боясь шевельнуть головой. Но вдруг все зараз зашевелились и спросили у старухи, чем собственно им гордиться, что это за камень?

– А это нечто такое великолепное и дорогое, что и описать нельзя! – ответила старая жаба. – Носят же это ради собственного удовольствия и другим назло. Но не спрашивайте больше! Я не стану отвечать!

– Ну, уж во мне-то нет драгоценного камня! – сказала самая младшая из жаб. Она была безобразная-пребезобразная! – Да и с какой стати завелась бы во мне такая драгоценность? А если она к тому же будет сердить других, то какая мне от неё радость? Нет, мне бы хотелось только одного – взобраться когда-нибудь на край колодца и посмотреть оттуда на белый свет! То-то там, должно быть, чудесно!

– Оставайся-ка лучше на своём месте! – сказала старуха. – По крайней мере знаешь, где ты! Берегись ведра, оно раздавит тебя! А попадёшь в него – ещё вывалишься, и не всем, ведь, удаётся упасть так счастливо, цело и невредимо, как мне!

– Квак! – вздохнула молодая жаба; по-нашему, по-человечьи, это означало «ах».

Уж как ей хотелось взобраться на край колодца, поглядеть на белый свет! Её так и тянуло кверху! И вот, на следующее утро, ведро с водой случайно приостановилось перед камнем, на котором сидела жаба... Сердечко у неё так и ёкнуло, миг – и она

прыгнула в ведро и погрузилась на дно.

Ведро вытянули, и воду выплеснули.

– Ах, что б тебе! – вскрикнул парень, увидав жабу. – Такой гадины я ещё не видывал! – И он ткнул её ногой в деревянном башмаке, так что чуть не изувечил бедняжку. Жаба едва спаслась в высокую крапиву. Тут она стала оглядываться: стебли стояли рядышком один возле другого, а вверху, сквозь листья, просвечивало солнышко, так что листья казались совсем прозрачными. Для жабы разгуливать в крапиве было то же, что для нас гулять в густом лесу, где сквозь листву просвечивает солнышко.

– Здесь куда лучше, чем у нас в колодце! Право, так бы и осталась тут навсегда! – сказала жаба. Прошёл час, прошёл другой, а она всё лежала в крапиве. – А что же там, дальше? Если уж я зашла так далеко, надо идти и дальше!

И она поползла, как могла скорее, и выползла на дорогу. Солнышко пригревало её, пыль пудрила, а она себе ползла да ползла через дорогу.

– Вот тут так сушь да гладь! – сказала она. – Право, тут уж больно хорошо! Мне просто щекотно от удовольствия!

Вот она доплелась до канавы, обросшей по краям незабудками и таволгой. Пovyше же шла живая изгородь из бузины, белого тёрна и вьюнка. Да, много тут было цветов! Просто загляденье! Вот вспорхнула бабочка, и жаба приняла её за цветок, который сорвался со стебелька, чтобы лучше познакомиться с белым светом. Что ж, жаба отлично это понимала! – Вот бы полететь, как он! – сказала она. – Квак! Ах! Что за красота!

Целую неделю прожила она у канавы; недостатка в пище тут не было. Но на девятый день жаба подумала: «Пора дальше! Вперёд! Поищу ещё чего-нибудь получше!» Но что же могла она найти? Может быть, подружку-жабу или зелёных лягушек! Ночью ветер доносил до неё кваканье; должно быть, поблизости жила родня.

«Как хорошо жить на свете, выбраться из колодца, лежать в крапиве, ползать по пыльной дороге и нежиться в сырой канаве! Но дальше, дальше! Надо отыскать лягушек или подружку-жабу! Без этого обойтись нельзя, одной природы мало!» И она опять пустилась в путь.

Вот она доползла до большого пруда, поросшего тростником. Туда она и забралась.

– Тут, пожалуй, чересчур сыро для вас! – сказали лягушки. – Но милости просим! Вы дама или кавалер? Впрочем, всё равно! Милости просим!

И её пригласили на вечерний семейный концерт. Восторг был полный, голоса тоненькие, – дело известное! Угощения не было никакого, только даровое питьё – целый пруд, если угодно.

– Теперь мне надо дальше! – сказала жаба. Она всё рвалась к лучшему.

Видела она над собою звёзды, такие большие, ясные, видела и новорожденную луну, видела и солнце, которое подымалось всё выше и выше.

«Я, значит, всё-таки ещё в колодце, только в большом. Надо взобраться ещё выше! Ах, меня так и тянет всё дальше и дальше, всё выше и выше!»

Вот настало полнолуние, и бедняжка подумала: «Не ведро-ли это спускается? Вот бы прыгнуть в него да подняться кверху! Или, может быть, солнце – большое ведро? Какое оно огромное, яркое! В нём бы хватило места для всех нас! Надо будет ловить случай! Ах, как оно засветилось у меня в голове! Драгоценный камень вряд ли светит ярче. Ну, его-то во мне нет, да мне и горя мало! Нет, вот подняться ещё выше, к ещё большому блеску и радости – это дело другое! Я твёрдо решила на этот шаг, но всё-таки и побаиваюсь слегка... Шаг, ведь, серьёзный! Сделать его, однако, надо! Вперёд! Всё прямо, прямо! Знай – шагай!»

И она зашагала, т. е. поползла. Вот она выбралась на проезжую дорогу; тут жили люди, попадались сады и огороды.

– Сколько, однако, на свете разных тварей! Я их и не знавала прежде! И как велик, прекрасен самый свет! Но надо осматривать его, а не сидеть на одном месте. – И она прыгнула в огород. – Какая зелень! Как тут хорошо!

– Знаю, что хорошо! – сказала гусеница, сидевшая на капустном листе. – Мой листок больше всех здесь! Он закрывает от меня полсвета, но я в нём и не нуждаюсь!

– Кок-кок-кудак! – раздалось возле них.

Это явились куры. Они так и засеменяли по огороду. Самая

первая курица была дальноркая, увидела гусеницу на капустном листе и клюнула его. Гусеница свалилась на землю и принялась изгибаться и вывёртываться. Курица покосилась на неё сначала одним глазом, потом другим, – она ещё не знала, что выйдет из этих вывертов.

«Ну, он вертится этак не по доброй воле!» решила она, наконец, и хотела было склевать гусеницу. Жаба так перепугалась, что подползла к курице вплотную.

– Э, да он выдвигает резервы! – сказала курица. – Ишь, ползучка какая нашлась! – И она повернула прочь. – Нужен мне очень этакий зелёный червячок! Только в горле от него запершит!

Остальные куры были того же мнения и тоже ушли.

– Ну, я таки отвертелась от неё! – сказала гусеница. – Вот что значит не терять присутствия духа! Но самое трудное ещё впереди! Как мне опять взобраться на мой капустный лист? Где он?

Жаба подошла к гусенице и выразила своё сочувствие, а также радость, что её безобразие обратило курицу в бегство.

– Что вы хотите сказать? – спросила гусеница. – Я сама отвертелась от неё. Фу, на вас смотреть тошно! Оставьте меня, пожалуйста, в покое! Я, кажется, у себя дома! А, вот и мой листок! То-ли дело у себя дома! Но надо взобраться повыше!

– Да, повыше! – сказала жаба. – Выше! У нас с ней симпатия! Но она не в духе теперь – от страха. Все мы хотим взобраться повыше!

И она подняла голову как только могла.

На крыше крестьянской хижины сидел аист; он трещал языком и аистиха трещала.

«Как они высоко живут!» подумала жаба. «Вот бы забраться туда!»

Хижину нанимали двое студентов. Один был поэт, другой натуралист. Один радостно воспевал всё сотворённое Богом так, как оно отражалось в его сердце, воспевал в кратких, ясных и звучных стихах. Другой вникал в самую суть вещей, готов был даже распотрошить их, если на то пошло. На весь мир Божий он смотрел, как на огромную арифметическую задачу, производил

вычисления, хотел выяснить себе всё, понимать всё, говорить обо всём разумно, – всё в мире было, ведь, так разумно. Он и говорил обо всём разумно и с увлечением. Оба были добрые, весёлые малые.

– Вот славный экземпляр жабы! – сказал натуралист. – Надо её в спирт посадить!

– Да у тебя уж две сидят! – сказал поэт. – Оставь её в покое! Пусть наслаждается жизнью!

– Да уж больно она безобразна! Прелесть просто! – сказал первый.

– Вот если бы можно было найти в её голове драгоценный камень, я бы сам помог тебе распотрошить её! – сказал поэт.

– Драгоценный камень! – повторил натуралист. – Силён же ты в естественной истории!

– А разве не прекрасно это народное поверье – будто жаба, эта безобразнейшая тварь, часто скрывает в своей голове драгоценный камень? Разве с людьми не бывает того же? Какой драгоценный камень скрывался в голове Эзопа, а в голове Сократа..?

Дальше жаба ничего не слыхала, да и из того, что слышала, не поняла половины. Друзья прошли, и беда на этот раз миновала её.

– И они говорили о драгоценном камне! – сказала жаба. – Хорошо, что во мне его нет, не то не избыть бы мне неприятности!

На крыше опять затрещало. Аист-отец держал семейную речь, а семья его косилась на двух студентов, гулявших по огороду.

– Человек – самое чванное создание! – говорил аист. – Слышите, какую трескотню завели! А настоящего-то всё не выходит! Они чванятся своею речью, своим языком! Хорош язык, который, чем дальше едешь, тем меньше понимаешь! Вот у них как! Один не понимает другого. А наш-то язык годится всюду – и в Дании, и в Египте. И летать они не умеют! Правда, они мчатся с места на место, благодаря своему изобретению – железной дороге, да часто ломают себе шеи! У! мороз по клюву пробирает, как подумаю об этом! Свет простоял бы и без людей! Мы без них отлично бы обошлись! Оставили бы нам только лягушек, да

дождевых червей!

«Вот так речь!» подумала жаба. «Какой он важный и как высоко сидит! Никого ещё я не видала на такой высоте!.. А как он умеет плавать!» – вырвалось у неё, когда аист широко взмахнул крыльями и полетел.

Аистиха же продолжала рассказывать детям об Египте, о Ниле, о бесподобной тамошней тине. Всё это было так ново для жабы.

– Мне надо в Египет! – сказала она. – Только бы аист взял меня с собою! Или хоть один из птенцов! Я бы уж отплатила ему чем-нибудь! Да я таки и попаду в Египет: счастье мне везёт! Право, это стремление, эта тоска, что во мне, лучше всякого драгоценного камня в голове!

А в ней как раз и сидел этот камень – эта вечная тоска, стремление к лучшему, стремление вперёд, вперёд! Она вся светилась ими.

В эту минуту явился аист. Он увидел в траве жабу, слетел и сцапал её не особенно-то деликатно. Клюв сжался, в ушах у жабы засвистел ветер... Неприятно это было, но зато она летела вверх, в Египет!.. Она знала это, и глаза её засияли; из них как будто вылетела яркая искра.

– Квак! Ах!

Жаба умерла, тело её раздавили. Но куда же девалась искра из её глаз?

Её подхватил солнечный луч и унёс – куда?

Не спрашивай об этом натуралиста, спроси лучше поэта. Он ответит тебе сказкой; в ней будут упомянуты и гусеница, и семья аиста. Подумай! Гусеница превращается в прелестную бабочку, аист летит над горами и садами в далёкую Африку и всё же находит кратчайшую дорогу назад, в Данию, на то же место, на ту же крышу. Да, это что-то сказочное, и всё-таки это правда. Спроси хоть у натуралиста, и он скажет то же самое. Да, ты и сам знаешь, сам видел всё это!

Ну, а драгоценный-то камень из головы жабы куда девался?

Поищи его на солнце! Взгляни на него, коли можешь! Но блеск солнца нестерпим. У нас нет ещё таких глаз, которыми бы мы могли зреть всю красоту, созданную Богом, но когда-нибудь мы обретём их. То-то будет чудесная сказка: мы сами будем в ней

действующими лицами!

(Голосов: 1. Рейтинг: 1,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Тётушка

Знали бы вы тётушку – прелесть что такое! То-есть прелесть не в обыкновенном смысле слова, не красавица, а милая, славная и, по-своему, презабавная. Вот над кем можно было пошутить, посмеяться! Хоть сейчас сажай её в комедию! И всё это потому только, что она жила лишь театром и всем, что к нему относится. Вообще же тётушка была особа почтенная, даром что агент Болман, или «болван», как звала его тётушка, величал её «театральной маньячкой».

– Театр – моя школа, – говаривала она: – источник моих познаний. Благодаря театру, я освежила своё знание священной истории: «Моисей», «Иосиф и его братья» – это всё, ведь, оперы! Благодаря театру, я познакомилась и со всемирной историей, и с географией, и с психологией! Из французских пьес я узнала парижскую жизнь; легкомысленна она, но в высшей степени интересна! Как я плакала над «Семейством Рикебур»! Подумать только – герой допивается до смерти, чтобы героиня могла выйти замуж за любимого человека! Да, много слёз я пролила за те пятьдесят лет, что абонируюсь!

Тётушка знала каждую пьесу, каждую кулису, каждого актёра, который выступал на сцене теперь или прежде. Она жила, собственно говоря, только девять месяцев в году; летние три месяца, театральные каникулы, прямо таки старили её, тогда как один вечер в театре, затягивавшийся за полночь, просто молодил. Она не говорила, как другие люди: «Вот скоро придёт

весна!» «Аист прилетел!» «В газетах уже пишут, что появилась свежая земляника!» Она, напротив, приветствовала осень: «Видели, абонемент уже открыт?.. Скоро начнутся представления!»

Достоинство и удобство квартиры она измеряла близостью её к театру. Как горько было ей оставить маленький переулок, проходивший позади театра, и переехать в большую улицу немного подальше, да вдобавок поселиться в доме без визави<sup>[1]</sup>.

– Я и дома хочу иметь свою ложу – окошко! Нельзя же всё с самою собою рассуждать, надо и на людей поглядеть! А вот теперь мне приходится жить, точно в деревне, в захолустье! Если мне вздумается посмотреть на людей, приходится взлезать на кухонный стол – только оттуда я и вижу соседей. То-ли дело было в переулке! Там из моего окошка открывался вид прямо в квартиру торговца льном, да и до театра было всего три шага, а теперь целых три тысячи и каких ещё – гвардейских!

Случалось тётушке и захворать, но как бы плохо она себя ни чувствовала, пропустить представления всё-таки не могла. Раз доктор предписал ей поставить себе вечером к ногам кислое тесто. Она поставила, но в театр всё-таки поехала и высидела всё представление с тестом на ногах. Умри она в этот вечер, она была бы даже довольна. Ведь, умер же в театре Торвальдсен, и такую смерть она называла «блаженною».

Тётушка и рая не могла себе представить без театра. Конечно, нам этого не обещано, но, ведь, довольно же правдоподобно, что для прекрасных актёров и актрис, которые отправились туда до нас, найдётся и там арена деятельности!

В комнатку тётушки была проведена из театра своего рода электрическая проволока; телеграмма являлась каждое воскресенье к кофе. Проволокою служил господин Сивертсен, театральный машинист, подававший сигналы к поднятию занавеса, перемене декораций и проч.

От него-то тётушка и получала краткие, но вразумительные сведения о репертуаре. «Бурю» Шекспира он звал «чертовщиной»: столько хлопот с ней! В первом же действии – «море вплоть до первой кулисы!» Это он хотел объяснить, как далеко должны были

заходить волны морские. Если же сцена во всех пяти действиях изображала всё одну и ту же комнату, он называл такую пьесу разумною, толково написанною, на которой можно отдохнуть. Она, дескать, играет сама собой, без всяких фокусов.

В прежние времена – то есть лет тридцать тому назад – когда и сама тётушка и вышепоименованный господин Сивертсен, уже и тогда служивший машинистом, были помоложе, он – по словам тётушки – был настоящим благодетелем для неё. В те времена в единственном большом городском театре существовал обычай допускать зрителей на особые места, находившиеся под потолком, по обеим сторонам сцены. Каждый машинист располагал там местом или двумя. И места эти зачастую бывали битком набиты самою избранною публикою; говорили даже, что туда жаловали генеральши и коммерции советницы. Ведь, так интересно было заглянуть за кулисы, увидеть, как держат себя герои сцены после того, как занавес опустится!

Тётушка частенько бывала там, когда шли трагедии и балеты; в этих пьесах участвовала наибольшая часть труппы, и на них-то особенно интересно было смотреть сверху. Зрители сидели там в потёмках, но очень удобно; почти все запасались закуской на ужин, и однажды в темницу Уголино, где он должен был умереть с голода, упала колбаса и три яблока! В публике, конечно, надорвали животики со смеху. Вот эта-то колбаса и была одною из главнейших причин, по которым дирекция закрыла для зрителей места наверху.

– Но я всё-таки успела побывать там тридцать семь раз! – говорила тётушка. – И никогда я не забуду этого господину Сивертсену!

В последний вечер, когда места под потолком ещё были открыты для публики, давался «Суд Соломона»; тётушка отлично помнила это. В этот раз она, благодаря любезности господина Сивертсена, достала входной билет для агента Болмана, хоть он и не заслуживал этого за своё зубоскальство и вечные насмешки над театром. Но ему очень хотелось видеть «театральную канитель с изнанки». Он именно так и выразился, и это было куда как похоже на него – говорила тётушка.

И вот, он увидел «Суд Соломона» сверху, да и заснул там.

Право, точно он пришёл в театр с большого обеда, за которым было провозглашено пропасть тостов! И так, он заснул, проспал конец представления, и его заперли в тёмном, пустом театре.

– Когда я проснулся, – рассказывал он потом (тётушка, впрочем, не верила ни единому его слову) – «Суд Соломона» был кончен, все лампы и свечи потушены, весь народ разошёлся, но тогда-то и началось настоящее представление – эпилог. И это было всего интереснее! Всё ожило, пошёл уже не «Суд Соломона», а «Страшный суд в театре».

И подобной ерундой агент Болман думал морочить тётушку – в благодарность за то, что она устроила его под потолком!

Всё, что рассказывал агент, могло со стороны показаться довольно забавным, но в сущности-то за всем этим скрывалась одна злая насмешка.

– Темно там было наверху! – рассказывал он. – Но вот началось волшебное представление «Страшный суд в театре». У дверей стояли контролёры и требовали у каждого из зрителей аттестат, чтобы удостовериться, имеет ли он право входить в театр не связанный по рукам и без намордника. Господа, являющиеся в театр слишком поздно, – трудно, ведь, сообразоваться с временем! – привязывались у входа и подковывались войлочными подошвами, чтобы могли без шума войти в театр в начале следующего действия. Кроме того, на них надевались намордники. Затем, начался «Страшный суд».

– Всё только ехидничанье и злость, неугодные Господу Богу! – ворчала тётушка.

Агент же продолжал:

– Декоратор, желавший попасть на небо, должен был взбираться на него по им самим нарисованной лестнице, а лестница-то эта являлась сплошным отрицанием всяких законов перспективы! Заведующий же монтажной частью, прежде чем попасть на небо, должен был перенести в подходящие места все здания и растения, водворённые им в несоответствующие страны, – и всё это раньше, чем пропоёт петух!

– Господину Болману следовало бы лучше заботиться о том, как бы самому-то попасть на небо!

Вообще всё, что он рассказывал об актёрах – и комических, и

драматических, о певцах и балетных танцорах было – по словам тётушки – со стороны Болмана (болвана!) чёрною неблагодарностью! Он не заслуживал счастья попасть «наверх»! Тётушка не желала даже повторять его сквернословия. А он уверял, что всё это записано и попадёт в печать после его смерти – не раньше! Не то тётушка, пожалуй, загрызёт его!

Только один раз довелось тётушке набраться страха в своём храме блаженства – театре. Дело было зимою, в один из коротких «двухчасовых» серых дней. На дворе стоял холод, шёл снег, но тётушке непременно надо было попасть в театр. Давали «Германа фон-Унна», небольшую оперу и большой балет, да ещё пролог и эпилог вдобавок. Спектакль должен был затянуться до поздней ночи. Как же пропустить такое представление? К тому же квартирант тётушки снабдил её парой высоких меховых сапог, заходивших ей за колена.

Тётушка явилась в театр, уселась в ложу, но сапогов не сняла, хоть ей и жарко было в них. Вдруг закричали: «Пожар!» Из-за одной кулисы и под потолком показался дым. Поднялся переполох. Тётушка осталась последней в своей ложе – второго яруса с левой стороны; оттуда декорации смотрят красивее – говорила тётушка – их, ведь, ставят так, чтобы они выглядели лучше из королевской ложи! Наконец, и тётушка добралась до двери, но оказалось, что зрители, выскочившие раньше, заперли её за собою впопыхах. Тётушка очутилась в западне. Прямо в коридор выйти было нельзя, через соседнюю ложу тоже, – перегородка была слишком высока. Тётушка закричала, никто не услышал. Она заглянула вниз, в следующий ярус, там тоже было пусто, но до него было близко, просто рукой подать. Тётушка от страха вдруг помолодела, почувствовала себя такою лёгонькою, проворною и совсем уж собралась было перелезть через барьер вниз, даже перекинула через него одну ногу, а другую поставила на скамейку. Так она и сидела словно верхом на лошади, такая нарядная, в платье с цветочками, свесив вниз ногу в необъятном меховом сапожище! То-то была картина! Когда на неё обратили внимание, услышали и крики тётушки, и она была спасена от опасности сгореть – со стыда, так как театр и не думал гореть. По её словам это был самый памятный вечер в её жизни. И

хорошо, что она тогда не могла видеть самое себя, – она бы умерла со стыда.

Благодетель её, машинист Сивертсен, приходил к ней каждое воскресенье, но от воскресенья до воскресенья долго было ждать, и вот, тётушка стала в последнее время приглашать к себе по средам «кормиться» (т. е. пользоваться остатками от стола) маленькую девочку. Девочка участвовала в балетах и тоже нуждалась в пище. Выступала она в ролях эльфов и пажей; труднейшею же ролью её была роль «задних лап льва» в «Волшебной флейте». Потом она доросла и до передних лап, но за них ей платили уже только три марки разовых, тогда как задние лапы оплачивались целым риксдалером<sup>[2]</sup>. Зато, исполняя их, ей приходилось сгибаться в три погибели и задыхаться! Всё это тётушку живо интересовало.

Она бы заслуживала прожить до самого закрытия старого театра, но нет, не выдержала! Не пришлось ей и умереть там! Умерла она чинно и благородно в собственной постели. Последние слова её были, впрочем, довольно таки характерны. Она спросила: «А что идёт завтра?»

После тётушки осталось что-то около пятисот риксдалеров. Так мы заключаем из процентов на капитал, составлявших двадцать риксдалеров. Их завещала тётушка в виде пожизненной пенсии достойной, старой безродной девице с тем, чтобы она абонировалась на одно место в ложе второго яруса с левой стороны, и непременно на субботние представления, – тогда даются лучшие пьесы. На пенсионерку налагалось лишь одно обязательство – поминать по субботам в театре покойную тётушку.

Так вот чему поклонялась и служила тётушка всю свою жизнь!

---

<sup>[1]</sup> Визави – здесь, без дома напротив.

<sup>[2]</sup> Риксдалер равнялся шести маркам.

 Загрузка...